



Дэвид
Николс

СТО
ТЫСЯЧ РАЗ
ПРОЩАЙ

Поклонники «Одного дня» не будут разочарованы.

Sunday Mirror



Дэвид Николс
Сто тысяч раз прощай
Серия «Азбука-бестселлер»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51364005

Сто тысяч раз прощай:

ISBN 978-5-389-18099-4

Аннотация

Впервые на русском – новейшая книга современного классика Дэвида Николса. Газета Guardian писала: «Его прошлый роман „Мы“ попал в Букеровский длинный список, а позапрошлый, „Один день“, прославил Николса на весь мир: перевод на 40 языков, тираж свыше 5 миллионов экземпляров, экранизация с Энн Хэтэуэй и Джимом Стёрджесом в главных ролях. И в „Сто тысяч раз прощай“ Николс делает то, что умеет лучше всего: погружая читателя в ностальгический пейзаж памяти, рассказывает историю любви – трогательную, но без дешевой сентиментальности, наполненную живым чувством, умными наблюдениями и, главное, юмором».

Лето 1997 года. Чарли Льюис уверен, что провалил школьные выпускные экзамены, и о будущем старается не думать. Он подрабатывает на бензоколонке, разъезжает по окрестностям на велосипеде, избегает собственного отца и читает старую фантастику. Но однажды на лугу возле «Усадьбы Фоли» он

встретит Фран Фишер – и с ней в его жизнь придет надежда. Однако цена этой надежды высока – знакомство с Шекспиром. А Театральный кооператив «На дне морском» завлекает в свои сети покрепче иной секты...

«Автор „Одного дня“ снова показал себя неисправимым романтиком. Первая любовь то возносит нас на вершину блаженства, то повергает в бездну отчаяния, и Николс воспроизвел колебания этого маятника с идеальной точностью» (*Daily Express*).

Содержание

Часть первая	5
Конец света	6
Опилки	15
Медляки	31
Бесконечность	39
Луг	49
Театральный кооператив «На дне морском»	67
С первого взгляда	78
Мама	83
Как в лучших домах	93
Углы	104
Игра в слова	116
Ромео	133
Пешком в сторону дома	142
Часть вторая	152
Свадьба	152
Цапля	158
Конец ознакомительного фрагмента.	159

Дэвид Николс

Сто тысяч раз прощай

Посвящается Ханне, Максу и Роми

То, что мы, во всяком случае я, называем «твердой памятью» – памятью о событии, о некой сцене или факте, которые каким-то образом затвердели в нас и тем самым спаслись от забвения, – на самом деле есть нескончаемый пересказ одной и той же истории, которая в процессе пересказа все время меняется. Человек – арена борьбы множества эмоциональных корыстей, подчас противоположных, несовместимых, поэтому невозможно принять свою жизнь целиком и сохранить душевный покой. Я думаю, в этом и заключается одна из задач рассказчика – подлатав тут и там, добиться эмоциональной целостности истории. Как бы то ни было, когда мы говорим о прошлом, каждое наше слово – ложь.

Уильям Максвелл. Пока, увидимся завтра

Часть первая

Июнь

Так случилось, что именно этим летом

она надолго оказалась от всего в стороне. Не была членом клуба и вообще ни в чем не принимала участия. Она чувствовала себя какой-то неприкаянной, как человек, который отирается в чужих дверях, и ее мучили страхи.
Карсон Маккалерс. Участница свадьбы

Конец света

Конец света ожидался в четверг, в шестнадцать пятьдесят пять, сразу после дискотеки.

До той поры катаклизмы подобного масштаба представляли перед нами разве что в слухах об апокалипсисе, которые проносились один-два раза в семестр. В них фигурировали примерно одни и те же обстоятельства. Не какие-нибудь банальности вроде вспышки на Солнце или приближения астероида. Нет, в желтой прессе сообщалось о пророчестве племени майя, или о какой-нибудь брошенной мимоходом фразе Нострадамуса, или о ложной симметрии календарных дат, после чего становилось известно, что аккурат в середине сдвоенного урока физики у нас растают лица. Равнодушный к нашей панике учитель со вздохом прерывал урок, пока мы азартно выясняли, у кого самые точные часы, и начинали обратный отсчет времени: девчонки, втянув головы в плечи, с закрытыми глазами жались друг к дружке, будто готовились к обливанию ледяной водой, парни храбрились, но все

тайно вспоминали упущенные поцелуи, несведенные счета, никчемную девственность, лица друзей и родных. Четыре, три, два...

Мы задерживали дыхание.

Потом кто-нибудь выкрикивал «бабах!», и мы заходились смехом, в котором сквозило облегчение и некоторое разочарование оттого, что всем удалось выжить, пусть даже на вдвоенном уроке физики. «Все довольны? Тогда за дело?» – и мы возвращались к работе, которая совершается при перемещении точки приложения силы в один ньютон на расстояние одного метра.

Но в четверг, в пятнадцать пятьдесят пять, сразу после дискотеки, все должно было измениться. В течение пяти долгих лет время еле ползло, но в последние недели, а теперь уже дни, нас захлестывала атмосфера восторга и паники, радости и страха, смешанная с безумным отрицанием всего и вся. Нас уже не могли напугать кляузными записками родителям или оставить после уроков, а чего только не сделаешь в этом мире, если уверен в своей безнаказанности. В коридорах и кабинетах администрация с особой тщательностью проверяла состояние огнетушителей. Не надумает ли Скотт Паркер высказать миссис Эллис все, что наболело? Не решит ли Тони Стивенс в очередной раз поджечь корпус гуманитарных дисциплин?

И вот – даже не верилось – настал последний день, ослепительно-яркий, начавшийся с потасовок у ворот; школьные

галстуки использовались вместо бандан и кушаков, размеры узлов варьировали от грецкого ореха до здоровенного кулака, а обилие губной помады, всяких цацек и крашенных в синий цвет волос наводило на мысли о футуристическом ночном клубе. И что могли нам сделать учителя – отправить по домам? Им оставалось только вздыхать, пропуская нас на территорию школы. Всю последнюю неделю, не имея больше веских оснований требовать с нас определения пойменного озера, учителя проводили бессистемные, тягомотные занятия, объединенные темой «взрослой жизни», в которой, можно было подумать, нас ожидало только заполнение бланков и составления резюме («Увлечения и интересы: общение, телевизор»). Нас учили сводить баланс чековой книжки. А мы смотрели в окно на прекрасный день и думали: осталось недолго. Четыре, три, два...

На перемене мы собрались в своем классе и, вооружившись фломастерами и маркерами, принялись поочередно списывать друг другу белые рубашки: одни подставляли спины, а другие, как татуировщики в русской тюрьме, нависали сверху и заполняли белое поле всякими сентиментальными гадостями. «Береги себя, мудила», – написал Пол Фокс. «Вонючая рубаха», – вывел Крис Ллойд. А мой лучший друг Мартин Харпер в приливе лирического чувства оставил надпись «Друзья не разлей H_2O » и пририсовал вполне реалистичный член с яйцами.

Харпер, Фокс, Ллойд. В ту пору это были мои закадычные

друзья, не просто ребята, а *парни*, и, хотя рядом крутились девчонки – Дебби Уорик, Бекки Бойн, Шерон Финдли, – наша компания оставалась самодостаточной и неприступной. Притом что ни один из нас не играл на музыкальных инструментах, мы воображали себя рок-группой. Харпер, с общего согласия, обеспечивал гитару-соло и вокал. Фокс отвечал за бас-гитару и задавал ритм низким «бум-бум-бум». Ллойд, объявивший себя «бешеным», стал барабанщиком, а мне остались...

– Маракасы, – сказал в свое время Ллойд, и мы захохотали, а Маракас потом добавился к длинному списку прозвищ.

Сейчас Фокс вывел их на моей форменной рубашке, да еще подрисовал череп и под ним – скрещенные маракасы, наподобие воинского знака отличия. Дебби Уорик – у нее мать работала стюардессой – притаранила в класс целую сумку маленьких шоколадных бутылочек с ликером (нашими любимыми были «кофе со сливками» и «мята-кокос»), и мы, отправляя их в рот пригоршнями, давились, содрогались и плевались, а мистер Эмброуз положил ноги на стол и впился глазами в крутившееся фоном видео «Освободите Вилли – 2», которое никого не колыхало.

В памяти еще было живо легендарное столовское побоище девяносто четвертого года, когда под ногами взрывались пакетики кетчупа, по воздуху сюрикэнами ниндзя летали порции рыбы в панировке, а картофелины в мундире взмывали и падали по дуге, как гранаты. Вот и сейчас Хар-

пер, в порядке эксперимента взяв за хвостик сосиску в кожистой оболочке, начал подзуживать Фокса: «Давай. Или слабо тебе?», но среди столов тюремщиками расхаживали учителя, и обещания шоколадного бисквита под шоколадным соусом смогли нейтрализовать опасность момента.

В актовом зале мистер Паско толкнул речь, которую нетрудно было просчитать: призвал всех смотреть в будущее, не забывая о прошлом, ставить высокие цели, но не страшиться падений, верить в себя, но думать о других. Важны, мол, не только те знания, которые мы получили (а он надеется, что мы получили очень большой объем знаний!), но и то, какими мы выросли, а мы, уж какими выросли, его слушали, застряв между цинизмом и сентиментальностью, хорохорились, но втайне страшились и тосковали. Мы ухмылялись и закатывали глаза, но в других рядах многие держались за руки и хлюпали носами, внимая призывам беречь старую дружбу – дружбу, которую мы пронесем через всю жизнь.

– Через всю жизнь? Еще не хватало, – сказал Фокс, любовно отрабатывая на мне прием с захватом головы и тычками кулаком.

Настал черед награждений, и мы в своих креслах сползли еще ниже. Грамоты всегда вручались одним и тем же ученикам, и жидкие аплодисменты зала стихали задолго до того, как очередной отличник успевал спуститься со сцены и, зажав подбородком наградной книжный купон, предстать перед фоторепортером местной газеты, как для проце-

дуры опознания. А потом на сцену шумно высыпал школьный свинговый оркестр под управлением мистера Соломона, чтобы порадовать нас звуками американского биг-бэнда – какофонией и дерготней этой гленн-миллеровской вещи, «В настроении».

– Зачем? Ну зачем? – мучился Ллойд.

– Сейчас надо создать *настроение*, – объяснил Фокс.

– Какое настроение? – не понял я.

– «Паршивое настроение», – сказал Ллойд.

– «Задрали» в исполнении Гленна Миллера и его оркестра, – объявил Фокс.

– У него даже самолет этого не выдержал – утопился, – сказал Харпер, но, когда музыкальный шквал затих, Фокс, Ллойд и Харпер сорвались с мест и начали скандировать «браво, браво, браво!».

На сцене Гордон Гилберт с безумным видом выдернул раструб своего тромбона и что было сил подбросил его высоко-высоко, под потолок, где он на миг завис, потом рухнул на планшет сцены и смялся, как консервная банка; мистер Соломон, подскочив к Гордону, разорался ему в лицо, а мы потянулись в спортзал, на дискотеку.

Но я понимаю, что происходящее затрагивало меня только по касательной. В целом тот день запомнился мне вполне отчетливо, но, пытаясь описать свое участие, я вспоминаю лишь то, что видел и слышал, но вовсе не то, что го-

ворил и делал сам. В школьные годы моим отличительным свойством было отсутствие всяких отличительных свойств. «Чарли старается соответствовать базовым требованиям и в основном справляется с данной задачей» – это была лучшая характеристика, на какую я только мог рассчитывать, но даже эту скромную репутацию окончательно подорвали экзамены. Не лидер, но и не шестерка, не идол, но и не пугало; не принадлежал к хулиганам, но со многими был в приятелях; не кидался в гущу драки, чтобы заслонить собой жертву от своры, потому что храбрости не хватало. Наш последний учебный год запомнился всплеском преступности: активизировались угонщики велосипедов, магазинные воры, поджигатели; с наиболее злостными нарушителями я не общался, но и с пай-мальчиками – из числа награжденных книжными купонами – тоже дружбу не водил. Я не прогибался, но и не бунтовал, не ввязывался в криминал, но и другим не препятствовал; избегал неприятностей, да и всего остального тоже. У нас высоко ценились словесные пикировки; в своем классе я не стал ни клоуном, ни занудой. Изредка мог вызвать у компании удивленный смешок, но мои лучшие остроты либо заглушались каким-нибудь горлопаном, либо элементарно запаздывали; я и сейчас, по прошествии более чем двадцати лет, все еще придумываю, как мог бы кого-нибудь срезать году этак в девяносто шестом или девяносто седьмом. Отнюдь не урод (мне это говорили), я улавливал зазывные шепотки и смешки девчонок, но что толку, если даже не мо-

жешь придумать, как ответить? От отца я унаследовал рост (и только), от матери – глаза, нос, рот, зубы (хорошо, что не наоборот, говаривал отец); нет, не так: от него я унаследовал еще манеру сутулиться и втягивать голову в плечи, чтобы занимать меньше места в мировом пространстве. По какой-то счастливой прихоти желез и гормонов у меня не бывало ни угревой сыпи, ни прыщей, которые для многих становились чумой всей юности; я не усыхал от тревог и не жирел от чипсов и газированных напитков – наших основных перекусов, но всегда был неуверен в себе. И не только в плане внешности.

Другие ребята каким-то образом изменяли самих себя по своему хотенью, причем целенаправленно, как стрижки или одежду. Мы были пластичны, непостоянны и, пока не зачерствели и не закоsnели, вечно экспериментировали – с почерком, политическими взглядами, тональностью смеха, походкой, жестами – для этого еще оставалось время. Пять лет старшей школы напоминали какую-то сумбурную репетицию: мы переодевались и перенастраивались, бросали под ноги разорванные привязанности и ненужные мнения; это действие, жутковатое и пьянящее для самих участников, бесило и ставило в тупик родителей и учителей, которым оставалось лишь наблюдать за этими импровизациями и разгребать завалы.

Не за горами было время, когда каждому предстояло взяться за ту роль, для которой он хоть как-то мог сгодиться,

но, когда я пробовал смотреть на себя со стороны (иногда буквально: поздним вечером, зачесав назад челку и вглядываясь в отцовское зеркало для бритья), передо мной представало... нечто невразумительное. На своих фотографиях той поры я вижу персонажа ранних мультфильмов, некий прототип, который хоть и смахивает на более поздний примелькавшийся образ, но еще остается непропорциональным, каким-то неправильным.

Нет, получается сбивчиво. Хорошо, тогда вообразите другой снимок – фотографию класса, уж она-то сохранилась у каждого: физиономии мелкие, нужно вглядываться. И не важно, сколько лет этому фото – сорок или пятьдесят, но где-то в среднем ряду обнаруживается смутно знакомая личность, не анекдотическая, не скандальная, не победоносная – ничем не памятная. И начинаешь думать: кто же это такой?

Вот это и есть Чарли Льюис.

Опилки

Дискотека выпускников отличалась поистине римским разгулом, сравнимым разве что с выездными уроками биологии. Нашей ареной был спортзал, где свободно мог бы разместиться пассажирский авиалайнер. Для иллюзии уюта между шведской стенкой и зеркальным шаром, который болтался на цепи, как средневековый кистень, натянули ветхие бумажные флажки, но зал все равно выглядел неуютно и голо; под звуки первых трех песен композиций мы сидели вдоль стен на гимнастических скамейках, разделенных пыльным, щербатым паркетным полом, и сверлили глазами противоположную сторону, как воины перед началом битвы, для храбрости передавая друг другу последние шоколадные бутылочки из запасов Дебби Уорик, но очень скоро у нас осталось только «куантро» – переступить эту черту никто не решался. Учитель географии, мистер Хелбёрн, в отчаянии менял «I Will Survive» на «Baggy Trousers» и даже на «Relax»¹, пока мистер Паско не попросил его убавить звук до минимума. Час с четвертью – и все закончится. Мы тратили время впустую...

Но тут зазвучала песня «Girls & Boys»² группы *Blur*, и как по команде на танцпол хлынула толпа, все дергались от ду-

¹ «Как-нибудь выживу», «Мешковатые брюки», «Расслабься» (англ.).

² «Девочки и мальчики» (англ.).

ши, а потом не расходились, воплями приветствуя следующие поп-хиты. Мистер Хепбёрн принес с собой взятый напрокат стробоскоп и теперь давил на кнопку большим пальцем, внаглую забив на все требования здравоохранения и безопасности. Мы в благоговении смотрели на свои сгибающиеся пальцы, втягивали щеки и закусывали нижнюю губу, как рейверы, которых показывали в теленовостях, дергали согнутыми в локтях руками, оглушительно топали, пока рубашки у всех не промокли от пота. Я увидел, как растекаются чернила на «H₂O», и вдруг вспыхнул сентиментальными чувствами к этой реликвии, протиснулся к скамье, под которой заныкал сумку, вытащил старую спортивную форму, прижал ее к носу, чтобы проверить, отвечает ли она хотя бы минимальным требованиям личной гигиены, и направился в раздевалку для мальчиков.

Если фильмы ужасов не врут, что стены и фундамент любого помещения накапливают в себе чувства тех, кто там побывал, тогда эта раздевалка требовала срочного обряда очищения. Жуть что там происходило. В углу, например, виселась зловонная, слежавшаяся от времени, как торфяник, груда бесхозного барахла (плесневелые полотенца, заскорузлые носки), в которую мы однажды закопали Колина Смарта; в другом углу осталось место, где Пола Банса вздернули за трусы с такой силой, что пришлось везти его в травму. Это помещение было сродни огороженной арене, где все удары, физические и моральные, считаются дозволенными;

в последний раз присев на гимнастическую скамейку, я осторожно просунул голову между крючками для одежды, повидавшими не одну жертву, и меня вдруг захлестнула неимоверная тоска. Возможно, это была ностальгия, но такое трудно представить: ностальгия по жидкому мылу, налитому тебе в пенал, по драке мокрыми полотенцами? Нет, меня, скорее, терзало сожаление о несбывшемся. Гусеница наматывает на себя кокон, и в этой прочной скорлупе растворяются стены тюремной камеры, начинается кишение и перестроение молекул, кокон лопается – а гусеница уже совсем другая, подросшая, более мохнатая и менее уверенная в своем будущем.

В последнее время меня изрядно донимали такие вот глубокомысленные раздумья, и сейчас я буквально стряхнул это самокопание, просто дернув головой. Впереди уже маячило лето, так неужели в этом промежутке между прошлыми сожалениями и будущими страхами невозможно оттянуться, пожить по-человечески, замутить какую-нибудь движуху? Между тем в это время мои друзья танцевали за стенкой, как роботы. Я быстро натянул через голову нестираную футболку, пробежал глазами неряшливые надписи на моей школьной рубашке и у нижнего края заметил фразу, четко и аккуратно выведенную синими чернилами:

ты доводил меня до слез

Эту рубашку, тщательно сложенную, я убрал в сумку.

В зале мистер Хепбёрн поставил «Jump Around»³, и тан-

³ «Скачи» (англ.).

цы уже стали более отвязными, более агрессивными, когда парни бросаются друг на друга, будто вышибая дверь.

– Боже правый, Чарли, – сказала мисс Бутчер, руководительница драмкружка, – откуда столько эмоций?!

В течение дня все знакомые страсти, злые умыслы и потаенные чувства, любовь и похоть, раскалились до такого градуса, который уже был чреват взрывом. Воздух жужжал и рвался наружу, я залез на шведскую стенку, сложился между перекладинами и задумался о тех пяти словах, выведенных аккуратно и отнюдь не случайно. Попытался вызвать в памяти лицо или найти его среди множества лиц в этом зале, но получалась какая-то детективная история, где у каждого есть мотив. Безумства между тем нарастали: мальчишки взбирались друг другу на плечи и с разгона врезались в соперников – прямо рыцарский турнир. Даже в реве музыки было слышно, как спины плашмя грохаются на паркет. Разгорелась нешуточная драка. У кого-то в кулаке блеснула связка ключей, и мистер Хепбёрн для восстановления общественного порядка включил *Spice Girls* – музыкальный водомет для драчунов, которые тут же откатились в стороны; их место заняли девчонки, которые скакали и грозили друг дружке пальчиками. За пультом тоже произошла смена составов: мисс Бутчер заняла место мистера Хепбёрна. Тот махнул мне рукой и стремглав ринулся через танцпол, крутя головой налево и направо, как будто перебежал оживленную улицу в неполюженном месте.

– Ну, что скажешь, Чарли?

– В вас умер бесподобный диджей, сэр.

– Чего лишилась клубная тусовка, то приобрела география, – сказал он, устраиваясь на шведской стенке рядом со мной. – Зови меня Адам. Мы теперь не связаны субординацией, ну или будем от нее свободны... через сколько там?.. через полчаса. Через полчаса сможешь называть меня как угодно!

Мне нравился мистер Хепбёрн, а его упорство перед лицом столь явного равнодушия толпы даже вызывало восхищение. *Не в обиду будь сказано: зачем все это?* Из всех учителей, которые косили под свойских ребят, ему лучше всех удавалось, не заискивая, выглядеть приличным человеком, отпускать загадочные намеки на «бурные выходные» и учительские козни, а ненавязчивые признаки бунтарства – ослабленный галстук, легкая небритость, лохматая шевелюра – наводили на мысль о нашем с ним единении. Порой у него даже слетали с языка ругательства, словно конфетки, брошенные в толпу. Но ни в одном из возможных миров я бы не смог обратиться к нему «Адам».

– Итак... скоро в колледж?

Мне послышались первые признаки утешительной речи.

– Вряд ли я пройду по баллам, сэр.

– Ты этого знать не можешь. Заявление ведь подавал, правда?

Я кивнул.

– На художественное оформление, программирование и компьютерный дизайн.

– Замечательно.

– Да только баллов не набрал.

– Ну, это пока неизвестно.

– Я почти уверен, сэр. На половину тестов вообще не явился.

Он легонько стукнул меня кулаком по колену, но быстро передумал продолжать.

– Ну ладно, даже если не набрал, существуют какие-то другие возможности. Пересдача, выбор другой, неизбитой специальности. Для парней твоего склада, талантливых...

Я с благодарностью вспоминал его похвалы в адрес моей проектной работы о вулканах: последнее слово в науке, современное изображение вулкана в разрезе – как будто я открыл некие основополагающие истины, столетиями ускользавшие от вулканологов. Но это был только маленький крючок, на который можно повесить словцо «талантливый».

– Не, я работать пойду, сэр. До сентября устрою себе передышку, а потом...

– Как сейчас помню твою презентацию о вулканах. Штриховка была нанесена бесподобно.

– Это уже в прошлом.

Я пожал плечами и вдруг с ужасом понял, что у меня внутри щелкнул какой-то переключатель и сейчас из глаз потекут слезы. Даже мелькнула мысль: а не забраться ли на несколь-

ко перекладин выше?

– Но ты, вероятно, найдешь работу, связанную как раз с этим.

– С вулканами?

– С компьютерной графикой, с дизайном. Если после объявления результатов захочешь со мной это обсудить...

Или не забираться выше, а взять да и спихнуть его с перекладины. Благо падать невысоко.

– Ладно, я разберусь.

– Хорошо, Чаз, хорошо, но позволь открыть тебе одну тайну. – Он развернулся ко мне, и я учуял пивной дух. – Заключение она в следующем. Настоящее ни на что не влияет. То, что происходит сейчас, ни на что не влияет. Ну то есть *влияет*, но не так сильно, как тебе видится, а ты еще молод, *так* молод. Захочешь – поедешь учиться, захочешь – вернешься, когда созреешь, но у тебя. Полно. Времени. Эх... – Он мечтательно прижался щекой к деревянной стойке. – Если бы я в один прекрасный день проснулся шестнадцатилетним... Эх...

Я уже приготовился спрыгнуть, но тут мисс Бутчер как по заказу нащупала стробоскоп и выдала длинную-длинную очередь вспышек; в толпе раздался вопль, началось внезапное кишение: в мерцающем свете, под звуки «МММВор» ребята в панике окружили Дебби Уорик, которая, закашлявшись, извергала в этом дьявольски быстром слайд-шоу белопенную рвоту прямо на обувь и голые ноги тех, кто оказался

рядом, и зажимала рот ладонью, отчего радиус дуги только увеличивался, как при поливе из зажатого пальцем шланга, и одинокая Дебби под общий гогот и визг сложилась пополам в кольце выпускников. Только тогда мисс Бутчер выключила стробоскоп и на цыпочках пробралась сквозь оцепление к Дебби Уорик, чтобы самыми кончиками пальцев вытянутой руки помассировать ей спину.

– Студия пятьдесят четыре, – сказал мистер Хепбёрн, слезая со шведской стенки. – Перебор стробирующих импульсов, понятно?

Музыка смолкла, ребята оттирали голые ноги грубыми бумажными полотенцами, а уборщик Парки побежал за опилками и дезинфицирующим средством, которые всегда были наготове в дни подобных мероприятий.

– Осталось двадцать минут, леди и джентльмены, объявил мистер Хепбёрн, вернувшись за пульт. – Двадцать минут, а это значит, что пора немного сбавить обороты...

Медленные песни давали ученикам санкционированную возможность лежать друг на друге в положении стоя. До этого первые аккорды «2 Весоме 1»⁴ расчистили танцпол, но теперь по периметру закипели панические переговоры, которые мы вели по пояс в тумане, поскольку техники по собственной инициативе высыпали нам под ноги небольшое количество сухого льда. Первыми из дымки вырвались Салли Тейлор и Тим Моррис, за ними – Шерон Финдли и Патрик

⁴ «Стать одним» (англ.).

Роджерс, школьные секс-первопроходцы, которые засовывали руки глубоко под пояса брюк и юбок друг друга, как будто хотели вытянуть оттуда счастливый лотерейный билет, а потом Лайза Боден по прозвищу Боди и Марк Соломон, Стивен Шенкс (он же Шенкси) и Элисон Куинн (она же Королева), изящно перепрыгнули через опилки.

Но они в наших глазах были семейными парочками с большим стажем. Толпа требовала новых зрелищ. Из дальнего угла донеслись улюлюканье и ободряющие вопли: там коротышка Колин Смарт взял за руку Патрицию Гибсон и та, отчасти подталкиваемая сзади, отчасти взятая на буксир, выплывала на свет, свободной рукой загораживая лицо, как обвиняемая перед входом в здание суда. Между тем парни и девчонки стали на свой страх и риск совершать перебежки через весь зал: одних принимали с распростертыми объятиями, другим давали отлуп, и эти, натужно улыбаясь, понуро разворачивались под жидкие хлопки.

– Видеть этого не могу, а ты?

Ко мне на шведскую стенку забралась Хелен Бивис, девочка из гуманитарного класса, чемпионка по хоккею на траве, временами именуемая Ключкой – естественно, за глаза.

– Ты посмотри, – продолжала она, – Лайза готова всю голову засунуть в рот Марку Соломону.

– Могу поспорить: он еще жвачку не выплюнул...

– Гоняет ее туда-сюда. Маленький зубной бадминтон.

Чпок-чпок-чпок.

Мы с ней – с Хелен – и раньше совершали застенчивые шаги к сближению, которые, впрочем, ни к чему не привели. В классах гуманитарно-художественного направления она входила в число продвинутых учеников, которые создавали большие абстрактные полотна с названиями вроде «Разделение» или неустанно совали какие-то глиняные поделки в печь для обжига керамики. Если в изобразительном искусстве главное – самовыражение и эмоции, то я был всего лишь «добротным рисовальщиком»: мне удавались детально проработанные, густо заштрихованные эскизы зомби, космических пиратов и черепов, непременно с одним зрячим глазом; сюжеты черпались из компьютерных игр и комиксов, из ужастиков и научно-фантастических фильмов, а причудливые, ожесточенные образы лишь по чистой случайности не привлекли внимания школьного психолога.

«Одно могу сказать, Льюис, – когда-то произнесла нараспев Хелен, держа на расстоянии вытянутой руки портрет какого-то межгалактического наемника, – ты классно рисуешь мужские торсы. И плащи. А представь, каких ты добьешься успехов, если переключишься на что-нибудь реалистичское».

Я тогда не ответил. Хелен Бивис была для меня слишком умной, причем никогда себя не выпячивала и не гонялась за книжными купонами. Вдобавок она отличалась остроумием и свои лучшие шутки произносила вполголоса, для собственного удовольствия. Ее фразы были многословнее, чем

требовалось, но в каждом втором слове сквозила ирония, отчего я не мог взять в толк, как их понимать: в прямом смысле или в обратном. Слова, даже однозначные, были для меня камнем преткновения, и если наши с ней приятельские отношения чем-то подпитывались, то лишь тем, что я вечно не догонял.

– Знаешь, чего не хватает в нашем спортзале? Пепельниц. Которые задвигаются в торцы параллельных брусьев. Слушай, а нам уже можно курить?

– Можно будет только... через двадцать минут.

Как и все наши лучшие спортсмены, Хелен Бивис была заядлой курильщицей, она затягивалась, не успев выйти за территорию школы, и, когда смеялась, подрагивала сигаретой «Мальборо» с ментолом, как морячок Попай – трубкой, а однажды я увидел, как она заткнула одну ноздрю пальцем, а из другой выпустила соплю, которая перелетела через живую изгородь и приземлилась метрах в четырех. Такой жуткой стрижки, как у Хелен, я не видел больше ни у кого: на темени – ирокез, сзади – длинная, жидкая гривка, а к щекам липнут остроконечные бакенбарды, будто пририсованные к портрету шариковой ручкой. Таинственная формула, известная только старшекласникам, – жидкие волосы, плюс художественные наклонности, плюс хоккей, плюс небритые ноги – однозначно указывала на лесбиянку; для парней это было сильнодействующее слово, способное как разжечь, так и погасить любую искру интереса к девчонке. Лесбиянки бы-

вали двух – только двух – типов, и Хелен относилась явно не к тому типу, который мелькал на страницах журналов, хранимых Мартином Харпером, а потому не пользовалась успехом у парней, что, надо понимать, ее вполне устраивало. Но я относился к ней с симпатией и был бы рад произвести впечатление, хотя она, видя мои потуги, только медленно покачивала головой.

Наконец подвешенный на цепи зеркальный шар пришел в движение.

– Ах. Какое чудо, – изрекла Хелен, кивком указывая на медленное кружение танцующих пар. – Всегда по часовой стрелке, ты заметил?

– В Австралии кружатся в другую сторону.

– А на экваторе стоят без движения. Там народ устойчивый.

Композицию «2 Become 1» сменил теплый сироп «Greatest Love of All»⁵ Уитни Хьюстон.

– Фу! – сказала Хелен, поводя плечами. – Надеюсь, наше будущее все же не в этих детях – так будет лучше для всех.

– Возможно, Уитни Хьюстон не имела в виду конкретно нашу школу.

– Скорее всего.

– Мне в этой песне еще одно непонятно: «Учиться... ммм... любить себя» – почему это считается величайшей любовью?

⁵ «Величайшая из всех любовь» (англ.).

– А ты вслушайся как следует: там звучит «не любить» – и это более осмысленно, – сказала она.

Мы прислушались.

– «Учиться не любить себя...»

– «...в том величайшая нелюбовь». Потому она так легко дается. И что поразительно, это подходит почти ко всем любовным песням.

– «Она не любит тебя...»

– Точно.

– Спасибо, Хелен. Теперь я вижу смысл.

– Дарю. – (Мы опять повернулись к танцевальной площадке.) – Триш, похоже, довольна.

И мы стали наблюдать за Патрисией Гибсон, которая, до сих пор загораживая лицо ладонью, одновременно танцевала и пятилась.

– Как интересно у Колина Смарта топорщатся брюки! Придумал тоже, куда положить пенал. Вжух! – выпалила Хелен. – Я и сама однажды так влипла. На рождественской дискотеке в компании прихожан методистской церкви, с человеком, чье имя называть не вправе. Хорошего мало. Как будто тебе в бедро упирается угол обувной коробки.

– Думаю, парню это приятней, чем девушке.

– Так пусть выйдет и потрется о дерево, что ли. А иначе получается неприличие, то есть в моем понимании хамство. Не включай такие средства в свой арсенал, Чарльз.

У других парочек руки либо нащупывали ягодицы, ли-

бо уже на них лежали, потные и боязливые, либо мяли эту плоть, как тесто для пиццы.

– Смотреть противно. И не только из-за моего пресловутого лесбиянства.

Я заерзал на перекладине. У нас не было привычки к прямому, откровенному обсуждению таких вопросов. Их полагалось избегать, и в следующий миг...

– Ты, кстати, потанцевать не желаешь? – спросила она.

Я нахмурился:

– Не-а. Мне и тут неплохо.

– Вот-вот, мне тоже, – сказала она; прошло немного времени. – Если захочешь кого-нибудь пригласить...

– Говорю же, мне и тут неплохо.

– Неужели у тебя нет предмета страсти, Чарли Льюис? Не хочешь в последние минуты перед смертью снять груз с души?

– Да я на самом деле этим... не занимаюсь. А ты?

– Я? Нет-нет, у меня внутри, считай, все умерло. И вообще любовь – буржуазное измышление. А вот это... – она кивком указала на танцпол, – это не сухой лед, а пелена низко стелющихся феромонов. Принюхайся. Любовь – это... – (Мы стали втягивать носом воздух.) – «Куантро» и хлорка.

Микрофон зафонил – это громогласный мистер Хепбёрн поднес его слишком близко к губам.

– Последняя песня, дамы и господа, самая последняя песня! Пусть каждый найдет себе пару для этого танца... сме-

лее, пипл!

Заиграл «Careless Whisper»⁶, и Хелен кивнула в сторону заговорщического кружка, который сейчас вытолкнул вперед одну девушку. Направляясь в нашу сторону, Эмили Джойс заговорила раньше, чем следовало, – с такого расстояния ее не было слышно.

– ...

– Что-что?

– ...

– Я тебя не...

– Привет! Я просто поздоровалась, вот и все.

– Привет, Эмили.

– Хелен.

– Ну, здравствуй, Эмили.

– Вы чем тут занимаетесь?

– Вуайеризмом, – ответила Хелен.

– Это как?

– Да просто подглядываем, – объяснил я.

– А видал, как Марк залез Лайзе под юбку?

– Нет, к сожалению, упустили, – ответила вместо меня Хелен. – Но мы засекли, как они целовались. Это было нечто. Ты когда-нибудь видела, Эмили, как сетчатый питон заглатывает молочного поросенка? Наши двое, наверное, челюсти вывихнули, пока тут...

Эмили досадливо сощурилась, глядя на Хелен:

⁶ «Беспечный шепот» (англ.).

– Что?

– Я спросила, случилось ли тебе видеть, как сетчатый питон заглатывает молочного...

– Слушай, ты сюда танцевать пришел или что? – раздраженно выпалила Эмили и двинула мне по коленной чашечке.

– Я вам не помеха, – вставила Хелен.

Наверное, я надул щеки и выпустил воздух.

– Ладно уж, – сказал я и спрыгнул.

– На блевоте не поскользнитесь, сладкая парочка, – бросила Хелен нам вслед: мы уже выходили на танцпол.

Медляки

Я вытянул руки, и на мгновение мы, как пенсионеры на танцевальном вечере «Для тех, кому за...», остановились, отведя в сторону сцепленные пальцы. Эмили меня поправила: положила мою руку себе пониже спины, и, когда мы начали первый круг, я закрыл глаза и попытался разобраться в своих ощущениях. Искусственный свет звездного неба навевал романтический настрой, а хрип саксофона, ощущение девичьего лобка и застежка бюстгальтера под ладонью должны были воспламенить желание, но единственным чувством, которое мне удалось распознать, было смущение, а единственным желанием – скорейшее завершение этой песни. Любовь и желание слишком тесно переплетались с издевками; неудивительно, что подпиравший стену Ллойд похотливо дразнил меня языком, а Фокс, повернувшись спиной, оглаживал свои лопатки. Я передвинул правую руку, выставив средний палец, остался доволен своим остроумием, и мы, кружась, стали удаляться под стон саксофона. *«Скажи мне что-нибудь...»*

Первой заговорила Эмили:

– От тебя мужиком тянет.

– Ох... Ну да, это старые спортивные шмотки. Других не нашлось. Извини.

– Все нормально, мне нравится. – Она уткнулась мне в

шею, и я почувствовал какую-то сырость – то ли поцелуй, то ли тычок мокрой тряпицей.

До этого я целовался (бабушки не в счет) только два раза; впрочем, те события точнее будет назвать столкновениями лицом к лицу. Первый случай произошел на экскурсии по римским развалинам, во время просмотра видеофильма. Умение целоваться не даровано человеку от природы – равно как и умение кататься на сноуборде или отбивать степ; да и наблюдение со стороны не прибавляет мастерства, но Бекки Бойн выросла на сказочных мультиках Диснея: она сложила губы в тугий сухой бутон, который запрыгал по моему лицу, как птица, клюющая семечки. Кино, помимо всего прочего, научило нас, что беззвучный поцелуй вообще не считается, а потому каждый клевок сопровождался кратким чмоканием, таким же неестественным, как «цок-цок», изображающее лошадь. С открытыми глазами или с закрытыми? Я-то глаза не закрывал (на тот случай, если нас застукают или атакуют) и читал тексты на экране. Узнал, например, что римляне первыми стали использовать у себя в домах полы с подогревом, а тем временем «тюк-тюк-тюк» становилось все жестче и настойчивей, словно кто-то пытался разблокировать степлер.

А с Шерон Финдли все было с точностью до наоборот: эта напала на меня бешеной акулой и злобно, с разинутой пастью вдавила в диванные подушки. У Харпера в подвале дома была своя берлога: этот бетонный бункер снискал дурную сла-

ву – там каждый пятничный вечер напоминал разнузданные вечеринки в особняке Хью Хефнера, издателя «Плейбоя». Здесь Харпер устраивал для избранных щедрые диско-пати, на которых раздавал пиво фамильной торговой марки с растворимым аспирином – ну прямо мартини с оливкой, хоть через соломинку пей; нам вставило так, что мы завалились за диван, где стали целоваться среди клочьев пыли и дохлых мух. Я впервые отчетливо понял, что язык – это мускул, сильный мускул, подобный лучу морской звезды, только без шершавой кожи, и когда мой язык боролся с языком Шерон, они толкались, как пьяные, не способные разойтись в коридоре. Стоило мне рыпнуться и поднять голову, как ее вжимали обратно в пыль с такой силой, какой бы хватило, чтобы выдавить сок из грейпфрута. Еще мне запомнилось вот что: от каждой отрыжки Шерон Финдли у меня раздувались щеки, а когда мы наконец отвалились друг от друга, она вытерла рот всей рукой, от пальцев до локтя. После таких упражнений сводило челюсти и всего меня трясло, в уголках рта образовались трещины, уздечка языка тоже чуть не лопнула, к горлу подступала тошнота от стакана (по самым скромным прикидкам) чужой слюны. Но не покидало меня и странное возбуждение, как после катания на экстремальных аттракционах, когда не знаешь, зайти сразу на второй круг или никогда в жизни к ним не приближаться.

От этой дилеммы меня спасло то, что Шерон тем вечером переметнулась к Патрику Роджерсу. Сейчас мы дрейфовали

мимо них в танце, а они пожирали друг друга под зеркальным диско-шаром. Я уловил очередную примочку на шее, а потом какой-то бубнеж, неразличимый в грохоте музыки.

– Что-что?

– Я сказала... – Но она вновь уткнулась мне в шею, и я разобрал только «в ванне».

– Не слышу...

Опять «бу-бу-бу-в-ванне», и я заподозрил, что она советует мне почаще мыться в ванне. Хоть бы музон этот приглушили.

– Прости, еще разок?

Эмили забормотала.

– А можно, – сказал я, – последнюю попытку?

Отлипнув от моей шеи, Эмили испепелила меня неподдельной злостью:

– Глухой, что ли? Я сказала, что думаю о тебе в ванне!

– Ой. Правда? Большое тебе спасибо! – зачастил я, но этого мне показалось недостаточно. – А я – о тебе!

– Что?

– Что я о тебе думаю?

– Не ври! Просто... ладно, забудь. О господи!

Она застонала и снова пристроилась к моей шее; теперь наш медленный танец плавился от ярости, но, к взаимному облегчению, песня закончилась. Засмущавшись от внезапной тишины, парочки, вспотевшие и ухмыляющиеся, стали расходиться.

– Ты потом куда? – спросила Эмили.

– Еще не решил. Наверно, к Харперу загляну.

– В эту берлогу? Ну-ну. Давай. – Она ссутулилась, выпятила нижнюю губу и сдула со лба челку. – Меня к нему в притон еще не заносило, – добавила она, и я, возможно, позвал бы ее с собой, но у Харпера на входе был безжалостный и непреклонный фейсконтроль.

Момент был упущен, и она с силой толкнула меня в грудь:

– Вали.

Я обрел свободу.

– Леди и джентльмены! – К микрофону вернулся мистер Хепбёрн. – Кажется, у нас еще осталось время для одного, самого последнего танца! Я попрошу вас, всех до единого, всех без исключения, выйти на танцпол! Готовы? Не слышу! Напоминаю: не наступайте, пожалуйста, на опилки. Поехали!

Песня *Blondie* «Heart of Glass»⁷ была для нас примерно такой же древностью, как «In the Mood», но вполне еще цепляла: на танцпол повалили все – и драмкружок, и задумчивый кружок гончарного мастерства, и даже Дебби Уорик, выжатая как лимон, бледная, еле стоявшая на ногах. Техники высыпали последний сухой лед, мистер Хепбёрн под общий радостный гвалт врубил звук на полную, и Патрик Роджерс, в экстазе сорвав через голову рубашку, стал ею размахивать, как флагом, чтобы завести толпу, но, когда об-

⁷ «Стеклянное сердце» (англ.).

ломался, поспешил таким же манером одеться. Что было новинку: Ллойд зажал рот Фоксу, словно пытаясь его задушить. Коротышка Колин Сمارт, единственная в драмкружке особь мужского пола, предложил в танце разбивать оказавшуюся рядом пару, а Гордон Гилберт, разрушитель тромбонов, взгромоздился на плечи к Тони Стивенсу, схватился за зеркальный шар, как утопающий – за буюк, и, когда Тони Стивенс шагнул в сторону, так и остался болтаться у всех над головами, а уборщик Парки тыкал в него палкой от швабры.

– Смотрите! Смотрите! – раздался чей-то голос, когда Тим Моррис начал откалывать брейк-данс: упав на пол, он в бешеном темпе ввинчивался в смесь опилок и хлорки, а потом вскочил и принялся как безумный отчищать штаны.

Мне на бедра легли чьи-то руки – это оказался Харпер, который кричал нечто вроде «Люблю тебя, дружок», а потом принялся смачно целовать меня в каждое ухо – чмок-чмок, но тут вдруг кто-то повис у меня на плечах, и мы все повалились на пол: Фокс и Ллойд, мы с Харпером, а потом и еще какие-то малознакомые парни; все смеялись шутке, которую никто не слышал. Мысль о том, что эти годы были лучшими в нашей жизни, вдруг показалась и вполне убедительной, и трагичной; оставалось только сожалеть, что школьные годы не всегда проходили именно так – в обнимку, под знаком какой-то хулиганской привязанности – и что я слишком мало общался с этими ребятами, так и не найдя для каждого свой особый голос. Почему мы задумались об этом толь-

ко сегодня? Слишком поздно, песня почти окончилась: уу-уу, оо-оо, воу-оу, уу-уу, воу-оу. Мы взмокли, одежда липла к телу, пот разъедал глаза и капал у каждого с кончика носа; выбравшись из этой кучи-малы, я на миг заметил Хелен Бивис, которая с закрытыми глазами танцевала в одиночку и, по-боксерски опустив плечи, напевала уу-уу, а потом у нее за спиной возникло какое-то движение – и вдруг резко распахнулись двери пожарного выхода. В зал хлынула ядерная вспышка, будто свет космического корабля в финале «Ближних контактов третьей степени». Ослепленный Гордон Гилберт свалился с зеркального диско-шара. Музыка резко смолкла – и все закончилось.

Время было еще детское – без пяти четыре пополудни.

Мы пропустили обратный отсчет и теперь стояли черными фигурами на свету, незрячие, моргающие, а персонал, вытянув перед собой руки, подталкивал нас к выходу. Переговариваясь сиплыми голосами, вспотевшие, мы поеживались от свежего воздуха, прижимали к груди нехитрые пожитки – хоккейные клюшки, самодельную керамику, затхлые коробки для ланча, мятые диорамы, рваную спортивную форму – и беженцами брели по двору. Девчонки пускали слезы, обнимаясь с подружками, а из-под навеса для велосипедов летела весть, что в последнем бессмысленном акте мести кто-то всем проколол шины.

У школьных ворот выстроилась очередь к пикапу с мороженым. Свобода, которую мы праздновали, почему-то пред-

стала ссылкой, парализующей и непостижимой, и мы топтались на пороге, не решаясь сдвинуться с места, как зверята, раньше срока выпущенные во враждебную дикую природу и стремящиеся назад в клетку. На другой стороне улицы я увидел свою сестру Билли. Мы с ней теперь почти не разговаривали, но я помахал. В ответ она улыбнулась и пошла своей дорогой.

Наша четверка в последний раз брела по домам, превращая этот день, пусть еще не оконченный, в забавный эпизод. У железной дороги, в серебристой березовой роще мы увидели облако дыма и оранжевое свечение ритуального костра, который развели Гордон Гилберт и Тони Стивенс для кремации старых папок, школьной формы, пластмасс и нейлона. Нечеловеческие вопли и гиканье нас не остановили. Но у переезда, где наши пути обычно расходились, мы замешкались. Наверное, нам стоило как-то обозначить нынешнее событие, произнести какие-нибудь слова. Обняться? Но мы избегали сантиментов. В небольшом городке разбежаться намного сложнее, чем постоянно видеться.

– Ну, пока, что ли.

– Созвонимся.

– В пятницу, ага?

– Ну, пока.

– Ладно, давай.

И я поплелся к дому, где теперь мы жили вдвоем с отцом.

Бесконечность

Было время – меня преследовал неотвязный сон (наверный, думаю, тем, что я слишком рано посмотрел фильм «2001: Космическая одиссея»), как я плыву без привязного фала сквозь бесконечное пространство. И тогда, и впоследствии сон этот приводил меня в ужас, но не из-за того, что я в нем умирал от удушья или от голода, а из-за ощущения беспомощности, когда нет возможности ни ухватиться, ни оттолкнуться, а есть только бездна, и паника, и убеждение, что это – сама бесконечность.

Похожее ощущение преследовало меня летом. Мог ли я надеяться хоть чем-нибудь заполнить бесконечную вереницу дней, из которых каждый бесконечен? Все последнее полугодие мы строили планы – как будем совершать набеги на Лондон, чтобы пошататься по Оксфорд-стрит (исключительно по Оксфорд-стрит), а также такими простачками с рюкзаками, под Тома Сойера, наведываться в Нью-Форест и на остров Уайт, предварительно затарившись пивом. Это у нас называлось «пешком с пивком», но и Харпер, и Фокс нашли себе халтуру на полную ставку – подрабатывали за наличные на стройке у папаши Харпера, и наши планы накрылись медным тазом. Без Харпера мы с Ллойдом только переругивались. А потом я и сам нашел подработку, где тоже платили наликотом: время от времени стоял за кассой на местной бен-

зоколонке.

Но таким способом получалось убить только двенадцать часов в неделю. Остальное время уходило у меня на... что? На роскошь поваляться в кровати по будням? Но она вскоре приелась из-за тоскливой дерготни солнечных пятен за шторами, а впереди – тягучий, ленивый, вялый день, за ним – еще один и еще, и каждый из этих дней перетекал в блеклую, блевотную блямбу безделья. Из научной фантастики (ясное дело, не из научного лепета на уроках физики) я знал, что в разных точках Вселенной время течет по-разному, так вот: на нижней койке шестнадцатилетнего человека в конце июня тысяча девятьсот девяносто седьмого года оно текло куда медленнее, чем в любой другой точке мироздания.

Мы обосновались на новом месте. Вскоре после Рождества нам пришлось съехать из своей половины «большого» дома, по которому я очень скучал: он весь, как детский рисунок, состоял из квадратов и треугольников, там были перила – кататься не хочу, отдельная спальня у каждого, парковочная площадка перед входом, сад с качелями. Отец приобрел то жилье в непонятном приливе оптимизма; помню, как он впервые привел нас туда, стучал костяшками пальцев по стенам, демонстрируя качество кирпича, и с восторгом опускал ладони на каждую батарею парового отопления. В том доме была даже комнатка с эркером, где я устраивался с комфортом, как юный лорд, чтобы наблюдать за дорогой; и что самое примечательное – над парадной дверью светил-

ся маленький квадратный витраж: восход солнца в золотисто-желто-багряных тонах.

Но «большой» дом от нас уплыл. Мы с отцом перебрались в район застройки восьмидесятых годов, который носил название Библиотечный, поскольку для укрепления культурной памяти все улицы в нем были названы в честь великих писателей: Вулф-роуд упиралась в Теннисон-сквер, авеню Мэри Шелли пересекалась с Кольридж-лейн. Мы жили на изгибе Теккерей-кресент; хотя творчество этого классика прошло мимо меня, оно вряд ли наложило свой отпечаток на здешние кварталы. Современные бледно-кирпичные строения с плоскими крышами отличались дугообразными стенами как снаружи, так и внутри; из самолетов, круживших над аэропортом, эти корпуса наверняка смотрелись скопищем жирных гусениц. «Какаш-татуаж», как выражался Ллойд. Когда мы сюда переехали (нас еще было четверо), отец заявил, что его пленили эти изгибы: мол, их свободная джазовая форма куда больше отвечала духу нашей семьи, чем помещения-коробочки старого дома. Здесь – как в маяке! Пускай «Библиотечный» уже не производил впечатления футуристического района, пускай садики размером с обеденный стол утратили былую ухоженность, пускай по широким молчаливым тротуарам порой грохотала магазинная тележка – мы вписывали новую страницу в историю своей семьи, а вдобавок обретали душевное спокойствие, какое дает жизнь по средствам. Да, нам с сестрой отводилась одна

спальня на двоих, но двухъярусная койка – это же здорово, да и потом, это ведь не на всю жизнь.

Прошло полгода; мы по-прежнему спотыкались о нераспакованные коробки, которые невозможно было ни придвинуть вплотную к выгнутым стенам, ни разместить на опустевшей верхней койке моей сестры. Ребята больше ко мне не заходили: все тусовались у Харпера, в доме, похожем на резиденцию румынского диктатора, где были две стереосистемы, гребные тренажеры, квадроциклы, гигантские телевизоры, самурайский меч и целый арсенал помповых ружей, пистолетов и финских ножей-выкидух – этого хватило бы для отражения атаки зомби. А у нас в доме только и было что мой ненормальный отец да горы редких джазовых пластинок. Мне и самому не улыбалось там находиться. А тем более жить. Главной задачей того лета было не сталкиваться с папашей. Для этого мне требовалось распознавать его настроение по звукам, которые он издавал, а я, как охотник, улавливал. Стены в квартире были не толще японской ширмы, и, покуда он себя не обнаруживал, я мог беспрепятственно зарываться под одеяло, лишь бы не втягивать носом комнатную затхлость, подобную застойной воде аквариума. Если до десяти утра никакого шевеления не слышалось, значит у отца включался «постельный режим» и я мог спуститься на нижний этаж.

В далекие благополучные годы, которые подпитывались банковскими кредитами, отец по объявлению в газете купил

компьютер величиной с картотечный шкаф, причем в бакелитовом корпусе. Если папаша валялся в постели, я охотно прожигал утренние часы в коридорах и шлюзовых камерах «Квейка» и «Дума», готовый при малейшем скрипе лестницы вырубить монитор. В дневное время «стрелялки» вызывали у отца запредельную ярость, – можно подумать, я стрелял в него.

Но в большинстве случаев он начинал ворочаться около девяти, а потом шаркал в уборную, которую отделяла от моего лежбища только хлипкая перегородка. По силе воздействия никакой будильник не мог сравниться с отцовской струей, которая била прямо у меня над ухом; я пулей выскакивал из-под одеяла, натягивал вчерашнюю одежду и беззвучно, как ниндзя, мчался вниз – проверить, не оставил ли он там курево. Если в пачке болталось не менее десятка сигарет, можно было смело вытащить одну штуку, мигом заныкать в карман рюкзака и застегнуть молнию. Потом я успевал стоя сжевать тост у кухонного «острова» (взгромождаться на высокий кухонный табурет быстро осточертело) и выскользнуть за дверь, пока не спустился отец.

Но стоило мне замешкаться, как он – еще со слипшими глазами на помятом лице – был тут как тут, и начиналась неловкая толкотня между чайником и тостером, сопровождаемая неизменным диалогом.

– Ну и как это называется? Завтрак или обед?

– Наверное, зобед.

– Глубокомысленно. Время – к десяти...

– Кто бы говорил!

– Я не мог заснуть, потому что... тебя не учили есть с тарелки?

– Я ем с тарелки.

– А почему крошки по всей...

– Потому что я не успел...

– Для тех, кто не понял: возьми тарелку!

– Вот тарелка, вот она, у меня в руке, тарелка, моя тарелка...

– И убери за собой.

– Я могу доесть?

– В раковине тарелку не оставляй.

– Никто не собирался оставлять тарелку в раковине.

– И это правильно. Не оставляй.

И т. д., и т. п., плоско, без юмора, с подначками, с потугами на сарказм – не разговор, а езда по ушам. Меня задолбала такая манера, но, чтобы ее изменить, требовался собственный голос, которого ни у него, ни у меня не было, из-за чего в кухне повисало молчание, и тогда отец включал телик. Может, когда-то и сквозило в этих перепалках некое хулиганское удовольствие, но если ты от них уходишь, то тем самым даешь понять, что тебе есть куда податься, а у нас с отцом таких возможностей не было. Свалить из дома я спешил именно потому, что отец не выносил одиночества.

Днями напролет я гонял на велосипеде, хотя и без вся-

ких современных примочек. На мне были джинсы, а не трусы-велосипедки из лайкры. Старый гоночный велик отличался руль типа «баран», ржавая дребезжащая цепь и громоздкая, тяжеленная рама, похожая на сварные строительные леса. Пригнувшись к рулю, я патрулировал Библиотечный район и, лениво разворачиваясь в тупиках, навевался к Теннисону и Мэри Шелли, от Форстера направлялся к Кипплингу, дальше вдоль по Вулф и кругом по Гарди. Инспектировал состояние качелей и горок на игровой площадке, чтобы при случае поделиться с кем-нибудь из приятелей. Колесил по пешеходным зонам и вилял зигзагами по широким пустым улицам, которые вели к магазинам.

Чего я искал? В одном слове не выразишь, но искал я каких-нибудь великих перемен; это был мой квест, мое, так сказать, приключение, где можно испытать себя и сделать выводы на будущее. Но какой интерес устраивать квест на знакомой улице и приключение для одного? Наш городок на юго-востоке страны, слишком большой, чтобы называться поселком, и слишком плотно застроенный, чтобы сойти за островок природы, находился чересчур далеко от Лондона, чтобы считаться пригородом. У нас не было ни железнодорожной станции, которая могла бы обеспечить бесперебойное сообщение с большими городами, ни хваленого процветания, которое традиционно приписывается этой местности. Основу городского хозяйства составляли аэропорт и всякие частные лавочки: копицентры, фирмы по установке стекло-

пакетов, мастерские по ремонту компьютеров и любой бытовой техники. На центральной улице, которая так и называлась – Центральная улица, стояло несколько сооружений, претендующих на звание достопримечательностей: бревенчатая изба-чайная «Домашний каравай», газетно-журнальный павильон в георгианском стиле и аптечный – в тюдоровском, средневековый крест на рыночной площади, манивший к себе любителей сидра – из числа тех, кого не смущали выхлопные газы и пыль транспорта, пронесившегося вдоль узких тротуаров, где жались к витринам прохожие. «Прошвырнуться по магазинам» – это была излюбленная форма досуга местных жителей, но тот, кто вертел головой, высматривая благотворительную лавку, чтобы сдать туда пальто, рисковал свернуть себе шею. Здание кинотеатра, которое безостановочно переходило из рук в руки и застряло во временной петле, приспособили под склад ковровых изделий. До живописных мест было двадцать минут езды на машине, до сассекских пляжей – еще полчаса, и весь городок замыкался внутри кольцевой дороги, окружавшей нас не хуже надежного забора.

Когда годы спустя мне доводилось слышать, как знакомые сентиментально и лирично отзываются о родных местах и рассказывают о влиянии Нортумберленда или Глазго, Озерного края или полуострова Виррал на становление их личности, я ловил себя на том, что завидую любым, даже самым банальным, стереотипным признакам так называемых корней.

У нас не было чувства общности, не было даже отличительного акцента: отдаленное подобие кокни, заимствованное из телесериалов, накладывалось на ленивый провинциальный говорок. Не испытывая неприязни к своему городу, я все же с трудом представлял себе лиричное или сентиментальное отношение к пожарному водоему, отделению полиции или скудным зарослям, где под ветками ежевики выцветали страницы порножурналов. Для нас общеизвестным местом прогулок служил сосновый парк «Собачьи кучи» в лесополосе «Злодеева роща»; насколько мне известно, под такими названиями эти места значились на картах государственной топографической службы и никого не вдохновляли на сонеты.

Потому-то я и слонялся вдоль по Центральной улице, вглядываясь в витрины, чтобы засечь кого-нибудь из знакомых. В газетном павильоне, купив только жвачку, читал компьютерные журналы, пока гневный взгляд киоскера не выгонял меня за порог, к велосипеду. Наверняка у меня был вид одиночки, хотя мне меньше всего хотелось производить такое впечатление. Скука сделалась нашим привычным состоянием, но тема одиночества оставалась под запретом, и я напускал на себя вид индивидуалиста, бунтаря, непроницаемого и самодостаточного, мастера езды без рук. Но косить под индивидуалиста, когда ты один на всем свете, и одновременно изображать счастье, которого нет в помине, – для этого требуются немалые усилия. Это как удерживать стул вытянутой рукой; когда мне становилось не под силу создавать

иллюзию легкости, я выезжал за черту города.

Путь до местности, хотя бы отдаленно напоминающей загородные просторы, лежал по эстакаде, под которой тревожно, как водопад, грохотала автомагистраль, а потом – через необъятные желтые поля пшеницы и рапса, через горбики тоннельных парников, снабжавших супермаркеты клубникой, и через окрестные холмы, взявшие нас в окружение. Я не был большим любителем природы, не увлекался ни рыбалкой, ни наблюдением за птицами, не писал стихов, не припомнил бы названия дерева, даже если бы оно рухнуло мне на голову, не отмечал для себя полюбившихся панорам или пестрых лужаек, но здесь, вдали от города, одиночество становилось менее постыдным, даже приятным, и я с каждым днем гнал себя все дальше от дома, расширяя круг знакомых мест.

Так прошла неделя, вторая, третья, и как-то раз, в четверг утром, я очутился над городом, на диком лугу, в высокой траве.

Луг

Сюда меня еще не заносило. После длинного подъема мне открылась уходящая вправо тропа – по счастью, ровная. Я слез и повел велосипед через рощицу, которая вскоре сменялась пологим выпасом, где трава стояла по пояс, местами жухлая, местами зеленая, усеянная красными пятнышками маков и голубыми... неизвестно чего. Кипрея? Васильков? Откуда мне было знать? Но луг неудержимо манил меня дальше; перетащив велосипед через деревянную изгородь, я пробивался сквозь бурьян. Впереди показался обшитый деревом особняк, тот, что я заметил еще с кольцевой дороги, и классический английский парк, нижним краем сбегавший к лугу. Охваченный внезапным чувством недозволенного, я опустил на землю велосипед и двинулся дальше, остановившись только у естественной впадины, где можно было позагорать, покурить и почитать о каких-нибудь бесчинствах.

Тягучие часы безделья привели к тому, что я впервые в жизни приохотился к чтению. Начал с триллеров и ужастиков из отцовской библиотеки: на страницах, знававших и пляж, и ванную с туалетом, жестокость по нарастающей чередовалась с сексом. Книжицы, которые поначалу казались второсортными (читать про секс и жестокость – все равно что слушать футбол по радио), теперь проглатывались за один день и тут же забывались; исключение составляли

«Молчание ягнят» и Стивен Кинг. Прошло совсем немного времени, и я перешел к другому разделу, более скромному, но на первый взгляд неприступному: к научной фантастике, где меня поджидали зачитанные до дыр тома Азимова, Балларда и Филипа Дика. Пусть я не мог понять, как это достигается, даже мне было ясно, что написаны они совсем не таким слогом, как романы про гигантских крыс, а каждая лежавшая у меня в рюкзаке книга, без которой я не выходил из дому, становилась щитом от скуки и апологией одиночества.

Впрочем, я соблюдал осторожность: взяться за книжку в компании приятелей было равносильно тому, чтобы записаться на уроки флейты или в кружок народного танца, но здесь-то я был один и потому без опаски вытащил из рюкзака «Бойню номер пять» Курта Воннегута – меня зацепило слово «бойня».

Поворочавшись с боку на бок, я утрамбовал для себя этакий солдатский окоп, недоступный наблюдению как сверху, из особняка, так и снизу, из города. Чтобы настроиться на нужный лад, обвел глазами игрушечные пейзажи, где вместо лесов теснились посадки, а вместо озер – водоемы, где пастбища для молочных стад и овечьих отар заняли конюшни, кошачьи гостиницы и собачьи приюты. Щебет птиц соперничал с ропотом транспорта и назойливым жужжанием телеграфных проводов, но все окрестности с расстояния выглядели вполне приемлемо. С большого расстояния.

Я снял футболку, поупражнялся в прикуривании своей

единственной сигареты дня, а затем приступил к чтению, за-слоняя глаза от солнца книгой и время от времени стряхивая с груди пепел. В вышине кружили чартеры из Испании, Италии, Турции и Греции в нетерпеливом ожидании свободной полосы. Закрыв глаза, я наблюдал за нитями, плывущими по экрану моих век, и пытался, насколько хватало глаз, уследить за серебристыми рыбинами, пока те не ускользали с воздушной рекой.

Когда я проснулся, солнце стояло в зените, и меня на миг привели в паническое смятение чьи-то крики, гиканье и охотничьи возгласы, долетавшие с вершины холма: облава. Неужели на меня? Нет, я услышал шорох травы и судорожное дыхание преследуемой жертвы, несущейся вниз по склону в мою сторону. Я присмотрелся сквозь травянистые стебли. Девушка была одета в желтую тенниску и куцую джинсовую юбку, которая сковывала ее движения; у меня на глазах она двумя руками подпернула юбочонку, а потом оглянулась и сложилась пополам, упираясь лбом в шершавые коленки, чтобы перевести дух. Лица ее я не видел, но проникся тревожным ощущением какого-то зла, исходившего от особняка: не иначе как там размещалась психлечебница или секретная лаборатория и беглянка нуждалась в моей помощи. Опять крики, улюлюканье; девушка оглянулась, распрямилась, подпернула юбку еще выше, целиком открыв бледные ляжки, и помчалась прямо на меня. Сжавшись, я успел заметить, как она еще раз оглянулась – и со всего размаху плаш-

мя рухнула на землю.

Стыдно сказать, но я заржал, хлопая себя ладонью по губам. На миг все стихло, а потом я услышал, как она стонет и одновременно хихикает:

– Ай! Ой, мамочка моя, вот идиотка! О-о-о-ох!

До нее сейчас было метра три-четыре, тяжелое дыхание прерывалось ее же мученическим смехом, а я вдруг физически ощутил свою голую цыплячью грудь, розовую, как консервы из лосося, и на ней – смешанный с сигаретным пеплом густой пот. Не высовываясь из окопа, я извивался на ровном дне, чтобы надеть футболку.

Из особняка на холме раздался насмешливый голос:

– Эй! Мы сдаемся! Ты победила! Возвращайся к нам!

А я беззвучно кричал: не верь, это ловушка.

Девушка простонала себе под нос:

– Вставай!

Тут ее позвал другой голос, женский:

– Молодчина! Сейчас обедать будем! Поворачивай!

– Не могу! – выдавила она, сидя на земле. – Ой! Черт!

Я вжался в землю, а девушка, пытаясь встать, пошевелила лодыжкой и вскрикнула от боли. Таиться дальше было невозможно, но я не мог придумать, как непринужденно выпрыгнуть из ямы посреди луга. Облизав губы, я не своим голосом окликнул:

– Ау-у!

Она чуть не задохнулась, завертелась юлой на здоровой

ноге, но тут же упала навзничь и скрылась в траве.

– Слушай, только не психуй, я просто...

– Кто это?!

– Просто даю знак, что я тут...

– Кто? Где?

– Да здесь. В высокой траве.

– Кого тут черти носят? Ты где?

Я резким движением одернул футболку, вскочил и, низко пригибаясь, как под обстрелом, ринулся туда, где лежала девушка.

– Не хотел тебя пугать.

– Оно и видно, извращенец!

– Эй, я сюда первый пришел!

– Ну и чем ты тут занимался?

– Да ничем! Книжку читал! Почему они за тобой гонятся?

Она посмотрела на меня искоса:

– Кто?

– Да эти, почему они тебя преследуют?

– Разве ты не в труппе?

– В труппе?

– В труп-пе – разве нет?

«В труппе» – на меня повеяло чем-то зловещим, и я подумал, что смогу еще пригодиться. «Идем со мной, если хочешь жить».

– Да нет же, я...

– Тогда чего тебе тут надо?

– Ничего. Я на велике катался, вот...

– И где он, твой велик?

– Вон там. Я читал, потом заснул, потом решил себя обнаружить, но так, чтобы тебя не испугать.

Она изучала свою лодыжку.

– Ну-ну.

– Но на самом-то деле тропинка – это не частное владение.

Я имею такое же право здесь находиться, как и ты.

– Допустим, но на самом-то деле я здесь нахожусь не без причины.

– И по какой причине они за тобой гнались?

– Что? А... Дурацкая игра. Забей.

Двумя большими пальцами она проверяла, целы ли кости.

– Ой!

– Болит?

– Да, болит как сволочь! Бегать по лугам – гиблое дело.

Ногой угодила в яму.

– Да, я видел.

– Правда? Ну спасибо, что не заржал.

– Я заржал.

Девушка прищурилась.

– Может... помочь? – спросил я, чтобы искупить вину.

Она смерила меня взглядом сверху вниз, то есть ее взгляд реально метнулся вверх и реально скользнул вниз: меня оценивали, да так, что я невольно сунул кончики пальцев в карманы.

– Еще раз спрашиваю: какую грязышку ты тут высматривал?

– Да я просто... Смотри, я тут читаю! Вот, гляди!

С этими словами я спрыгнул в свой окоп, чтобы достать и предъявить ей книгу в бумажном переплете. Она изучила обложку и, как фото в паспорте, сличила с моей физиономией. Удовлетворив свой интерес, девушка попыталась встать, но содрогнулась и осела на землю, а я подумал было протянуть ей руку, как для рукопожатия, но это показалось мне какой-то нелепостью; тогда я опустился на колени у ее ног и совершил почти такую же нелепость: как будто собираясь примерить ей хрустальный башмачок, взял ее за щиколотку: адидасовские кроссовки с синими полосами, надетые на босу ногу; голень бледная, в веснушках. Мои руки чувствовали легкие уколы свежих щетинок, черных, как железные опилки.

– Тебе там удобно? – спросила она, уставившись в небо.

– Да, вот произвожу осмотр... – Напустив на себя вид заправского травматолога, я ловко пробежался большими пальцами по ее щиколотке.

– Ой!

– Прости!

– Скажите, доктор, что конкретно вы ищете?

– Я ищу, где болит, чтобы определить порядок действий.

В первую очередь следует посмотреть, не торчит ли наружу кость, проткнувшая кожу.

– Ну и как: торчит?

– Нет, обошлось. Это всего лишь растяжение.

– А смогу ли я вновь танцевать?

– Сможешь, – ответил я, – только если по-настоящему захочешь.

Она рассмеялась в небо, и я, этакий самодовольный ловец, тоже хохотнул.

– Так мне и надо: придумала, что надеть, – сказала она, подтягивая джинсовую юбку к коленям. – Потому что нечего заноситься. Какая же я дура. Ладно, пойду. Отпусти мою ногу.

Слишком резко отдернув руки, я застыл с глупым видом, а она попыталась встать.

– Ты не мог бы...

Я рывком поставил ее в вертикальное положение и придержал за руку, а она попробовала наступить на узкий носок поврежденной ноги, опять содрогнулась и сделала новую попытку; тем временем я, вроде как глядя в сторону, поспешил ее рассмотреть. Ростом она была ниже меня, хотя и ненамного, кожа бледная, волосы черные, коротко стриженные, но с длинной челкой, которую она сейчас убрала за ухо; затылок выбрит, чтобы подчеркнуть плавную линию черепа – это смотрелось одновременно строго и стильно: прямо Жанна д'Арк, только-только из салона красоты. Если не ошибаюсь, в тот раз я впервые засмотрелся на чей-то затылок. В ушах – крошечные черные «гвоздики»; для особых случаев

проколоты две запасные дырочки. Поскольку мне было всего шестнадцать, я в полной уверенности, что ни одна девчонка не распознает такую уловку, затуманил взгляд, притворяясь, будто меня вовсе не интересуют ее груди. На них читалось «Адидас»; у ярко-желтой тенниски были до того короткие рукава, что у самого плеча я рассмотрел оспину от прививки, похожую на отпечаток мелкой римской монеты.

– Ты не слышишь? Мне потребуется твоя помощь.

– Идти можешь?

– Могу прыгать на одной ножке, но так я далеко не уйду.

– Взять тебя на закорки? – спросил я и тут же пожалел, что не нашел более жесткого выражения. – Ну то есть могу закинуть тебя на спину, как мешок.

Она пристально посмотрела на меня; я слегка приосанился.

– Ты грузчик?

– Просто я выше тебя!

– Зато я... – она одернула юбку, – плотнее. Ты сможешь поднять свой вес?

– А то! – Я повернулся и жестом автостоповца указал на свою потную спину.

– Ну нет. Нет, это уж вообще. Если не возражаешь, я бы просто на тебя оперлась...

Следующим жестом, какой даже не приходил мне в голову ни до, ни после, я уперся рукой в бедро, оттопырил локоть, как деревенский плясун, и небрежно кивнул в ту сторону.

– Вот спасибоочки, – сказала она, и мы двинулись вперед.

Шорох высоких трав казался несуразно громким; необходимость высматривать протоптанную тропинку не давала поглазеть на девушку, хотя взгляд устремлялся к ней помимо моей воли. Она смотрела под ноги; челка упала ей на лицо, но в какие-то мгновения мне было видно, что глаза у нее голубые, до смешного голубые, – разве я когда-нибудь замечал, какой у кого цвет глаз? – а под ними голубоватые круги, как несмытые вчерашние тени, прочерченные смешинками или...

– Ой! Ой-ой-ой.

– Может, давай я все-таки тебя понесу?

– У тебя прямо руки чешутся кого-нибудь понести.

На лбу у нее я заметил несколько прыщиков и один – на подбородке, то ли расчесанный, то ли расцарапанный; на нижней губе складочкой выделялся маленький выпуклый шов, словно результат небольшой починки; рот, с виду очень широкий, красневший на фоне бледной кожи, все время оставался в напряжении, как будто она готовилась либо рассмеяться, либо чертыхнуться, либо все разом, вот прямо сейчас, когда ее лодыжка подвернулась, будто на шарнирах.

– Я бы нормально тебя донес.

– Не сомневаюсь.

Через некоторое время впереди появилась ограда регулярного английского парка, а за ней – нелепый особняк, который вблизи выглядел еще более помпезным и неприступ-

НЫМ.

– Ты здесь живешь? – спросил я.

– Здесь? – Она без смущения рассмеялась во весь рот.

У меня всегда была легкая предвзятость и даже неприязнь по отношению к любому человеку с безукоризненными зубами: в их здоровом блеске мне виделась какая-то показуха. Эту девушку, отметил я, спасал от совершенства маленький скол на левом переднем зубе, как загнутый уголок страницы.

– Нет, я здесь не живу.

– Мне показалось, за тобой гнались родственники.

– Да, нас хлебом не корми – маму, папу и меня: как завидим луг...

– Ну не знаю, всякое бывает...

– Это была глупая игра. Долго объяснять. – И, сменив тему: – Повтори-ка, чем ты тут занимался?

– Читал. На природе хорошо читается.

Она скептически покивала:

– Юный натуралист.

Я пожал плечами:

– Просто для разнообразия.

– И как тебе «Бойня номер пять»?

– Нормально. Только бойни маловато.

Хотя это лишь с большой натяжкой могло сойти за юмор, девушка рассмеялась.

– Я слышала про эту книгу, но сама не читала. Не люблю обобщений, но, как мне кажется, такие книги – больше для

парней. Это так?

Я опять пожал плечами...

– То есть в сравнении с Ле Гуин или Этвуд.

...потому что, надумай она углубиться в литературные дебри, я бы, наверное, толкнул ее в кусты и убежал.

– Итак. О чем она?

Чарли, выйди к доске и ответь: что хотел сказать автор этим отрывком? Своими словами, пожалуйста.

– Ну, там человека, ветерана войны, похитили пришельцы и выставили на всеобщее обозрение в инопланетном зоопарке, но он постоянно вспоминает эпизоды войны, как был в плену...

Да, всякое бывает, но о чем эта книга? Продолжай, Чарли, прошу тебя.

– Ну там про войну, про бомбежку Дрездена, про фатальность... нет, не фатальность, а это... фатализм?.. имеет ли жизнь какую-либо ценность и что такое свобода воли – иллюзия... иллюзия... иллюзия... короче, жуть – война, смерть, но местами просто ржач.

– Так-так. Действительно, чуток смахивает на книгу для мальчишек.

Используй книжные слова.

– Сюрреалистическое произведение! Вот что это за книжка. И реально классная.

Неплохо, Чарли, садись.

– Так-так, – повторила она. – Ладно. При словах «инопла-

нетный зоопарк» я обычно отключаюсь, но этот роман, возможно, прочту. А ты, кстати, читал...

– Нет, я кино смотрел. – (Она стрельнула на меня косым взглядом.) – Шутка. Я, вообще-то, не особо начитанный. Тот еще читатель.

– Что ж, – сказала она, – это не страшно. – А потом, словно усмотрев какую-то связь: – Ты в какой школе учишься?

Этот вопрос, хотя и не запрещенный законом, уже в зубах навяз, но я подумал, что лучше не увиливать.

– Окончил Мертон-Грейндж, – сказал я, не спуская с нее глаз и ожидая стандартной реакции – такой гримасы, с которой человек узнает, что его новый знакомый только-только отмотал срок.

Хотя ничего подобного я не заметил, меня кольнула досада.

– А ты небось в Четсборне учишься, точно?

Заправив длинную прядь за ухо, она рассмеялась:

– Как ты угадал?

Да очень просто: в школе Четсборн учились мажоры, выпендрожники, хиппары. В Четсборне не было школьной формы, ученики носили обычную одежду, то есть винтажные платья в цветочек и футболки с ироничными надписями, нанесенными дома, по трафарету, своими руками. В Четсборне процветали умники и зануды, потому что это одно и то же, все сплошь были префектами классов и кушали вегетарианский таджин из собственноручно вырезанных деревян-

ных мисок, сидя на мебели, самостоятельно сколоченной из повторно использованной древесины. Агенты по недвижимости с гордостью отмечали, что тот или иной дом находится в микрорайоне этой школы, и только потом уточняли количество спален, а также уровни благосостояния, безопасности и прохлады, отмеченные у них на карте подобно зонам радиационного заражения. Кто летними вечерами ходил по улицам этого микрорайона, тот слышал звуки скрипки, виолончели и классической гитары, перекликающиеся на уровне восьмого класса музыкальной школы. Над всеми нашими первобытными инстинктами довлела – превыше верности спортивной команде, лейблу, политической партии – приверженность своей школе, и, как бы ни хаяли мы сие учебное заведение, эту связь, как татуировку, невозможно было вытравить ничем. Но при всем том мне уже не хватало тех кратких моментов, когда мы с этой незнакомкой еще не вошли каждый в свою роль: мальчик из Мертон-Грейндж и девочка из Четсборна.

Некоторое время мы шли молча.

– Не волнуйся, я не буду отнимать у тебя деньги на обед, – выговорил я, улыбаясь и одновременно хмурясь.

– Я что-то не то сказала?

– Да нет. – Я не смог скрыть обиду. И сделал второй заход. – Почему-то я тебя в городе не видел. – Можно подумать, у меня других дел не было, кроме как рыскать по улицам, высматривая девчонок.

– Потому что я живу... – Она неопределенно махнула рукой в направлении деревьев.

Мы продвинулись еще немного вперед.

– Раньше твоя школа дралась с нашей стенка на стенку, – сказала она.

– У границы районов, перед китайским кварталом. Я знаю. Сам ходил.

– Драться?

– Нет, просто поглазеть. Да и какие это драки? У всех с языка не сходили финки: мол, враги придут с финками, но у парней ничего с собой не было острее угольников. Скорее всего, ребята просто обливались водой и бросались чипсами.

– Водой обливаться – не с ножами баловаться.

– Но победа всегда была на стороне Мертон-Грейндж.

– Ну-ну, – сказала она, – Хотя, по большому счету, разве одна сторона может победить другую?

– Война – это ад.

– Драки между районами – сразу вспоминаются «Акулы» и «Ракеты», правда? Терпеть не могу такие разборки. Слава богу, с ними покончено, ничуть об этом не жалею. И вообще, если посмотреть на нас с тобой со стороны: никакого напряжения...

– Просто болтаем...

– Нормально общаемся, без помех...

– Очень трогательно.

– Ты на какие оценки рассчитываешь за экзамены?

К счастью, мы уже дошли до территории, примыкавшей к дому: ржавая металлическая калитка вела на плешивый газон, за которым маячил здоровенный, обшитый деревом особняк, достаточно внушительный, чтобы завладеть нашим вниманием.

– Мне сюда можно?

– В угодыя госпожи? Почто ж нельзя, малой?

Я придержал для нее калитку и помедлил.

– Без тебя мне к входу не подняться, – сказала она. – Ты – моя поддержка и опора, в буквальном смысле.

Мы поковыляли дальше, вдоль канавы с низкой оградкой – такие в начале восемнадцатого века получили название «хаха», что сделалось источником плоских шуток и ответом на них же. Вблизи стало видно, что живописные посадки неухоженны и выжжены солнцем: иссохшие розарии, круг ломкого декоративного кустарника с бурыми верхушками.

– Видишь? Это знаменитый лабиринт.

– Почему же ты там не спряталась?

– Я не дилетантка!

– Свой лабиринт... Что это за дом?

– Элитный. Заходи, представлю тебя владельцам.

– Мне надо возвращаться. У меня там велик...

– Никто твой велик не умыкнет. Идем, народ реально приятный. А кроме того, увидишь тут своих одноклассников, поздороваяешься.

По газону мы двинулись в сторону внутреннего дворика.

До моего слуха донеслись голоса.

– Честно, мне домой пора.

– Поздороваешься – и все, буквально на минуту.

Она сцепила согнутую в локте руку с моей, чтобы поудобнее опереться, а может, чтобы предотвратить побег, и через минуту мы оказались в центральном дворе, где стояла пара импровизированных столов, ломившихся от угощений, а вокруг кучковались незнакомые мне люди, человек десять, если не больше, и все спиной к нам – не иначе как «труппа» отправляла свои зловещие ритуалы.

– Вот она! – завопил румяный хлыщ в рубаше навывпуск, убирая плотное крыло волос, которое лезло ему в глаза. – Победительница возвращается!

Он показался мне смутно знакомым, но к нам уже повернулась вся эта кодла, которая приветствовала хромую беглянку радостными криками и аплодисментами.

– Боже, что стряслось? – Хлыщ взял ее под руку, а старушонка с короткой седой стрижкой нахмурилась и осуждающе зацокала языком, как будто девушка пострадала из-за меня.

– Я упала, – объяснила беглянка. – А этот молодой человек меня проводил. Забыла спросить, извини: как тебя зовут?

– Его зовут Чарли Льюис, – неприязненно поджав губки, опередила меня Люси Тран, вьетнамка, ученица Мертон-Грейндж.

– Обалдеть! Льюис! – зазвенел другой голос.

Хелен Бивис хихикала и тыльной стороной ладони заталкивала в рот листья салата.

– Ни стыда ни совести! Явился!

– Да я на велике катался по лугу, а...

– Привет, Чарли, милости прошу к нашему шалашу! – заговорил коротышка Колин Сمارт, единственный экземпляр мужского пола в школьном драмкружке, а хлыщ с густой челкой, вытянув руки и открыв круги пота под мышками, уже шагал ко мне, да так напористо, что я даже попятился и вжался в стену.

– Привет, Чарли, ты, как я понимаю, новичок? На тебя вся надежда! Ты нам очень нужен, Чарли! – Он сграбастал мою пятерню и стал ее трясти. – Накладывай себе чего-нибудь пожевать, и будем думать, как тебя задействовать, – тараторил он, а я уже вспомнил, где его видел и по какому поводу; нужно было срочно уносить ноги.

Театральный кооператив «На дне морском»

В последние недели заключительного семестра нас всех проводили в зал, на очень важное мероприятие с участием особых гостей. Обычно под этим подразумевалось нечто мрачное, например лекция по безопасности дорожного движения, причем с жуткими наглядными примерами. В прошлом семестре полицейский разбил резиновым молотком кочан цветной капусты, чтобы продемонстрировать влияние экстази на мозг, а в следующий раз пришла нервная, но симпатичная лекторша, чтобы провести беседу о сексе в контексте здоровых любовных отношений. Двери торжественно закрылись, и свет в зале потускнел.

– Будьте добры соблюдать тишину, – попросила женщина, демонстрируя ярко-розовые и лиловые слайды под смех, галдеж и вопли ужаса.

Я долго размышлял об этой работе, но так и не смог понять, какая же причудливая, запутанная карьерная история заставляет эту женщину беспрестанно мотаться из школы в школу с коробкой слайдов, изображающих всевозможные пенисы.

– В жизни не видал такой гнусной порнушки, – бросил Харпер, и мы засмеялись, как будто все это не имело к нам никакого отношения.

Щелк, щелк – один слайд сменялся другим.

– Как и снежинки, – говорила женщина, – пенисы не бывают абсолютно одинаковыми.

Тут я удивился: откуда такие сведения?

– Как это установили?

– Под микроскопом посмотрели, – сказал Ллойд и двинул меня кулаком между ног.

Поэтому нынче, очутившись напротив броско одетого, ухмыляющегося молодого человека с длинной челкой поперек глаз, и угловатой женщины, его ровесницы, с копной зачесанных назад черных волос, мы испытали ошутимое разочарование. Перед ними стоял побитый кассетный магнитофон, таивший для нас мрачную угрозу.

Мистер Паско дважды хлопнул в ладоши:

– Усаживайтесь все поудобнее, прошу. Ллойд, слово «все» к тебе тоже относится, или у тебя есть какие-то исключительные качества, о которых нам неизвестно? Нет? Тогда сядь. Итак... Мне бы хотелось представить вас сегодня нашим особым гостям, особым в плане их достижений, целей...

– И вождедений, – вставил Харпер, отчего я заржал.

– Льюис! Чарльз Льюис, что с тобой?

– Извините, сэр! – пробормотал я и потупился, а подняв глаза, отметил, что парень со сцены взглянул на меня, ухмыльнулся и сочувственно подмигнул. Мне это не понравилось.

– Наши гости – выпускники *Оксфорда*! Они пришли сюда, чтобы рассказать вам об одном очень увлекательном проекте, поэтому прошу тепло поприветствовать от имени всей школы Мертон-Грейндж... Минутку терпения... – мистер Паско посмотрел в свои записи, – Айвора и Алину... – он еще раз сверился с записями, – из театрального кооператива «На дне морском».

Айвор и Алина так резко вскочили, что их стулья заскрежетали по паркету.

– Как дела, ребята, все хорошо? – крикнул Айвор, пухлый молодой человек с глазами навывкате, как у избалованного спаниеля.

– Нормально, – забормотали мы, но Айвор вел себя нагло и вкрадчиво – такую манеру мы отмечали у ведущих детского телевидения.

Он рупором приставил к уху ладонь:

– Не слышу вас!

– Ну прямо, не слышит он, – прошипел Фокс. – Заигрывает.

– Хитрость, – заключил Ллойд, – коварная уловка.

– Давайте попробуем снова! Как дела?

Мы словно в рот воды набрали.

– Какое грустное зрелище! – произнесла Алина, опустив уголки рта и склонив голову набок.

– Боже, их, оказывается, двое! – воскликнул Ллойд, но Алина как-никак отличалась европейским акцентом, воз-

можно чешским или венгерским, что делало ее в наших глазах обольстительной и загадочной.

– Мы здесь для того, чтобы рассказать о фантастической возможности, которая предоставляется вам этим летом, – начал Айвор, – это масштабный и захватывающий проект. Скажите, кто из вас знает Уильяма Шекспира?.. Это все? Да, вы не слишком решительны. Хорошо, давайте попробуем иначе: кто из вас вообще не слышал про Уильяма Шекспира? Про «эйвонского барда»? Про Вильяма нашего Шекспира?! Ну вот, все о нем слышали!

– А кто может процитировать что-нибудь из Шекспира? – спросила Алина.

Поднялась одна рука. Сьюки Джуэл, второй по старшинству из девочек.

– «Быть или не быть», – прошептал Харпер.

– «Быть или не быть»! – выкрикнула Сьюки.

– «Вот в чем вопрос»!

– Отлично! «Гамлет»! Еще?

Из передних рядов зала младшие книжные черви выкрикивали:

– «Увы, бедный Йорик»!

– «Действительно ль кинжал перед глазами?»

– «Зима тревоги нашей позади...»

– «Что лучше: потерять любимых, – кричала Сьюки Джуэл, – чем вовсе в жизни не любить?»

Айвор снисходительно нахмурился:

– Вообще говоря, это Теннисон.

– Да, это Теннисон, ты, отстойная, – оживился Ллойд.

Теперь в разговор вступила Алина:

– И вот что важно: мы все пользуемся шекспировским языком, даже когда об этом не подозреваем.

Темноглазая, с острыми чертами лица, со строгим пучком волос на затылке, Алина, казалось, не слишком комфортно себя чувствовала в спортивном костюме с капюшоном, словно балерина, сбжавшая из психушки.

– Вы меня слушаете? Потому что я не стану продолжать, если меня здесь не слушают. Хорошо, скажите мне: кто-нибудь из вас слышал фразу: «О дивный новый мир»? Несколько человек. Ну что ж, давайте, как пелось в песне, «растопим лед на этой вечеринке»?

– А «малодушный»? – спросил Айвор.

– А «обличать»?

– Знаете ли вы... – начала Алина.

– Нет, – ответил Фокс.

– ...что, используя фразу «В моем безумии есть своя логика», вы цитируете Уилла?

– И кто же, интересно знать, использует фразу «В моем безумии есть своя логика»? – спросил Ллойд.

– А рассказывая анекдот про «тук-тук», вы цитируете «Шотландскую пьесу»!

Айвор подмигнул и, прикрывая рот рукой, прошептал:

– Она имеет в виду «Макбета»!

И коротышка Колин Сمارт из драматического кружка засмеялся.

– Эй! Сمارт! – прошипел Ллойд. – Чего смешного, придурок?

– «Играть обетом»! – добавила Алина.

– «В очах души моей»! – произнес Айвор.

– «Посмешище»!

– «Любовь слепа»!

– «Молоко милосердия»!

– Ни фиги себе, – сказал Харпер, – ладно, мы въехали.

Но они еще не закончили: теперь Айвор скрестил руки на груди и стал в позу, а Алина нажала кнопку воспроизведения на магнитофоне. Они сели на места, положив руки на колени и до предела подвинувшись к нам. Возникла длительная, неловкая пауза, после которой мы услышали слабый ритм хип-хопа. Как мы и опасались, они предприняли еще одну попытку убедить нас в том, что Шекспир был первым рэпером.

– «Прибью вас, как дверные гвозди»!

– «Продлится до Судного дня»!

– «Ни кола ни двора»!

– «Пища богов»!

– Мы вовсе не фанаты рэпа! – вздохнул Ллойд. – С чего они взяли, что мы любим рэп?

– «Играть обетом»!

– Уже было, – сказал Харпер.

– «Набить оскомину»!

– Это ты нам оскомину набил, – ввернул Ллойд.

– «Знать лучшие дни»!

– «Убить добротой»!

– Убейте меня хоть чем-нибудь, – попросил Фокс. – Пожалуйста!

– «Воплощенный дьявол»!

– Ха! «Ревность – чудище с зелеными глазами»!

– Всё нелюди какие-то.

Тут мистер Паско вдруг вскочил с места:

– Харпер! Фокс! Ллойд! Что вы себе позволяете?

– Цитируем Шекспира, сэр, – сказал Фокс.

– В нашем безумии есть своя логика, сэр, – выдал Ллойд. –

Уходим. Немедленно!

– «Он обличает бывший блуд»! – вполголоса объявил Харпер.

– Мы – «посмешище», – сказал Ллойд.

– «Всех одним налетом», – сказал Фокс, когда они втроем протискивались мимо меня под скрежет стульев.

Как только двустворчатая дверь закрылась, Алина нажала на клавишу «Стоп», и Айвор вновь заговорил:

– Итак. У нас к вам дело... Есть пьеса... Она о *бандах*, она о *насилии*, она о родственных связях, о предрассудках, о любви... – Айвор сделал паузу, прежде чем завершить фразу, – и о сексе! – Он выжидал, наклонив голову, а по залу прокатывался ропот. – Это пьеса Уильяма Шекспира. И на-

зывается она... «Ромео и Джульетта». Если вы думаете, что знаете ее как свои пять пальцев, поверьте мне, это не так. Театральный кооператив «НДМ» будет ставить ее здесь, этим летом, совершенно по-новому. А звездами... – Айвор вытянул руки в стороны, по-гангстерски растопырив на каждой два пальца, – станете вы! Пять недель репетиций, четыре спектакля. Мы будем учиться *танцевать, драться...*

– Мы будем учиться *существовать*, – добавила Алина, обводя нас темными глазами, и в первый раз мы умолкли и притихли.

– *Существовать* на сцене и за ее пределами. Мы будем учиться тому, как обитать в этом мире, присутствуя и существуя.

– Помните, – сказал Айвор. – Кооператив «На дне морском» – это не мы, а вы. – Сжав ладони, он сцепил пальцы и «позвонил» в сложенный из рук колокольчик, как будто в школьный звонок. – Вы нам нужны. Без вас мы просто не справимся.

– Мы вас очень просим, – поддержала Алина. – Давайте. Присоединяйтесь к нам.

– Я не планировал к вам присоединяться, – не выдержал (а может, даже прокричал) я сейчас.

– О'кей, – сказал Айвор. – Но неужели ты не понимаешь...

– Я вообще не собираюсь участвовать, мне только хотелось помочь вот этой. – Я нашел взглядом ту девушку: она

стояла у стола и накладывала половником еду на картонную тарелку. – Все, мне пора.

– Ладно. Ты твердо решил? У нас острая нехватка мужского состава.

– Это не ко мне. Я пошел. Извините. Пока, Люси, Колин. Пока, Хелен.

И прежде чем они смогли ответить, я энергично зашагал прочь из внутреннего двора, через искусственную лужайку за лабиринтом...

– погоди!

...одним прыжком укрылся в канаве за низкой живой изгородью, рванул дальше...

– Извини! Задержись на минуту! Да что ж такое...

...и вовремя оглянулся: за мной ковыляла она, роняя со смятой картонной тарелки какую-то кашу. Я подождал у ворот.

– Полюбуйся, – засмеялась она, – из-за тебя весь кускус рассыпался. – И стряхнула в траву остатки, похожие на крупный песок. – Кускус на живой изгороди. Черт побери, такие буржуазные замашки... Короче: хотела поблагодарить тебя за помощь. Спасибо.

– Не за что.

– Ты твердо решил, что не останешься?

– Я не актер.

– Поверь мне, я здесь уже целую неделю – тут все дилетанты, включая меня. Пойми, это просто развлечение. Сейчас

у нас в основном театральные этюды и конкурсы импровизации. Вижу, тебя это не вдохновляет.

– Да я просто не...

– Наверно, для тебя «театр» как-то не вяжется с «конкурсами».

– Извини, мне...

– Зато на следующей неделе мы уже начинаем ставить пьесу. «Ромео и Джульетта».

– Без меня.

– Потому что это Шекспир?

– Да вся эта лабуда... это такая...

Только не повторяй «лабуда».

– ...

– ...

– Лабуда.

– Ну... Что ж... Очень жаль. Приятно было познакомиться.

– Мне тоже. Может, еще увидимся?

– Увидимся, если придешь завтра! Не хочешь – не надо. – Она принялась отряхивать голую ногу. – Проклятый кускус. Терпеть его не могу. В девять тридцать, если что. Ты не пожалеешь. А может, и пожалеешь. То есть... возможно, ты и пожалеешь, но по крайней мере...

– Ну ладно, мне...

– Напомни: как тебя зовут?

– Чарли. Льюис. Чарли Льюис.

– Приятно познакомиться, Чарли Льюис.

– Мне тоже. Ну, всё тогда.

– А как меня зовут – не хочешь узнать?

– Извини, тебя зовут?..

– Фран. Полное имя Франсес, через «а», Фран Фишер.

Ничего не поделаешь, мои родители с ума свихнулись; на самом деле нет, но... ладно, не важно. В общем, я все сказала.

Спасибо. Пока.

Она пошла в обратную сторону, на ходу складывая уголке картонную тарелку, чтобы засунуть в карман джинсовой юбки. А потом обернулась: хотела удостовериться, что я смотрю ей вслед, хотя и так знала.

– Пока, Чарли Льюис!

На прощанье она мне помахала, я ей тоже, но приходить сюда больше не собирался, а с Фран Фишер виделся в первый и последний раз.

Где она теперь, хотелось бы знать.

С первого взгляда

Я знаю, где она теперь. На самом деле вернулся я потому, что немыслимо было не увидеть это лицо снова, и если ради этого мне предстояло убить полдня на театральные этюды, я приготовился заплатить такую цену.

Но допускаю, это и не совсем так. Быть может, я бы скоро ее позабыл. При пересказе таких историй – любовных – невольно приписываешь смысл и неизбежность совершенно нейтральным случайностям. Мы буквально романтизируем каждую мелочь: один взгляд – и что-то изменилось, вспыхнуло пламя, закружились шестеренки небесной махины. Но подозреваю, «любовь» распознается в «любви с первого взгляда» лишь задним числом, при наложении, как в оркестровой партитуре, когда финал известен, а взгляды, улыбки и касания рук приобретают значимость, которой, скорее всего, там не было и в помине.

Не скрою, Фран казалась мне миленькой, но я, случалось, думал так и о других, раз по пять, а то и десять в сутки, даже наедине с самим собой, даже уставившись в телевизор. Не скрою, во время нашей первой встречи мне был четкий, настойчивый голос, который твердил: *«Сосредоточься, это важно, сосредоточься»*; но ведь это могли быть просто мысли о сексе – в ту пору они врывались, считай, в любое мое общение с девчонками, как завывания автомобильной сиг-

нализации, которая никак не отключается... В равной степени это могли быть не столь обжигающие, более традиционные романтические грезы, мгновенные предвосхищения событий, которые потом соединятся, как на монтажном столе: вот сейчас ты возьмешь ее за руку, потом вы зайдете в книжный магазин полистать новинки, потом будете со смехом взлетать на качелях в парке «Собачьи кучи» – а я даже не знал, как это бывает и что при этом ощущаешь, когда *вместе*. Никогда в жизни, ни до, ни после, не было у меня такой готовности влюбиться. Мне думалось, что любовная лихорадка послужит прививкой от всех других тревог и страхов. Я жаждал перемен, хотел, чтобы нечто *произошло*, чтобы завязалось какое-нибудь приключение, а влюбленность, как я считал, – это более реальный путь, чем, скажем, раскрытие убийства. Но при всем обаянии этой новой знакомой до меня не дотронулась волшебная палочка, не долетели нежные звуки арф, и окружающий мир не осветился магическим сиянием. Будь у меня тем летом хоть какое-нибудь занятие или ощущение благополучия, образ ее вряд ли заполнил бы мои мысли, но я слонялся без дела и мучился от домашних неурядиц, а потому влюбился.

Помню, как меня беспокоило, что в памяти не сохранится ее лицо. На свободном ходу, рассекая с ураганной скоростью свет лесной дороги, расправив плечи и подставляя грудь ветру, я пытался связать то, что запомнилось, с ка-

кой-нибудь знакомой – хотя бы по телепередачам – лично-
стью, чья внешность могла бы послужить прототипом. Но
никто в полной мере не подходил для этой роли, и, когда я
у развилки свернул по направлению к городу, образ Фран
исчез из моего сознания, как утерянный снимок: форма но-
са, голубоватые тени для век, сколотый уголок зуба, изящ-
ный изгиб ее лба, россыпь веснушек и прыщиков – разве
столько упомнишь? Меня преследовала навязчивая идея на-
рисовать ее портрет сразу по приезде домой – несколько ли-
ний, жесты: вот она одергивает сзади свою джинсовую юбку,
вот убирает волосы за ухо. До этого я изображал главным
образом зомби да экзотических заморских насекомых. Оче-
видно, Фран Фишер могла стать моей первой достойной мо-
делью, «чем-то реальным», на что советовала мне обратить
внимание Хелен, и я продолжил восстанавливать в памяти
милые черты, как восстанавливаешь номер телефона: *форма
носа, оттенок голубого, сколотый уголок, изгиб, россыпь ...*

Номер телефона: надо было попросить – почему я этого
не сделал? Было бы очень кстати. Ну ничего, оставалась еще
надежда заполучить его в другой раз, при следующей встре-
че.

В другой раз.

Помню, как меня вдруг захлестнула жгучая ревность к ее
парню, хотя я даже не знал, кто он и существует ли в природе.
Конечно, у нее кто-то был, потому что девушки из Четсбор-
на разгуливали по городу с эффектными молодыми людьми

соответствующего положения и вместе проводили время в родительских бассейнах или на бессонных вечеринках с наркотиками.

Бывало, что и в Мертон-Грейндж ученики строили «отношения», которые, впрочем, рисовались как некая пародия на семейную жизнь: с чашками чая на коленках перед телевизором и с прогулками по магазинам – этакая странная игра с обязательствами под названием «папы-мамы». Ученики Четсборна, в свою очередь, слыли порочными и безбашенными, как золотая молодежь из «Бегства Логана» или студенты, приезжающие по международному обмену. Из всех этапов пути к взрослой жизни – голосование на выборах, управление автомобилем, законное употребление алкоголя – самым тяжким испытанием для ученика Мертон-Грейндж было увидеть бретельку от лифчика и не издать при этом резких звуков. Не показывать себя придурком: это был великий и непреложный закон перехода в новый статус. Даже если Фран Фишер ни с кем не встречается, с какой стати ее заинтересует такой, как я?

И наконец, любые чувства, которые в первом приближении можно назвать «любовью», считались ненужными и устарелыми, как завалящие детские игрушки. Бекки Бойн, Шерон Финдли, Эмили Джойс – какие мысли возникали у меня на их счет? Но теперь ко мне пришло совершенно незнакомое чувство, и даже если называть его любовью было бы опрометчиво, оно вполне могло сойти за надежду.

Такие мысли не полагалось высказывать вслух – да и кому? А вдобавок и времени для дальнейших раздумий не осталось, поскольку на Теккерей-кресент передо мной возникла новехонькая красная микролитражка, в окне которой маячило лицо моей сестры Билли, поднявшей глаза от книги.

К нам заехала мама.

Мама

Когда я был маленьким и еще верил во всякие байки, родители мне часто пересказывали историю своего знакомства. В ту пору они были студентами, мама училась на медсестру, а отец на бухгалтера – одолел половину курса наук, но забросил учебу из-за игры на саксофоне во всяких студенческих ансамблях: в тот вечер это был квинтет под названием «Зоб», зажигали они то ли в стиле панк-фанк, то ли фанк-панк и давали свой первый и последний концерт в помещении студенческого союза Портсмутского политеха. Панк и фанк, как оказалось, ни в какую не хотели сочетаться друг с другом, однако в те редкие мгновения, когда мать решалась поднять глаза, взгляд ее устремлялся на саксофониста – одного-единственного музыканта, которому хватало ума смущаться. Он передразнивал вокалиста, стоя у того за спиной, и маму это веселило, да и наярывал он весьма недурно, а потому она в перерыве устроилась рядом с ним за стойкой бара, где он, ссутулившись, яростно стирал подводку для глаз уголком позаимствованной у бармена салфетки, будто спешно ликвидировал камуфляж. Схватив его за руку, она припечатала: «Это был... полный ужас!» Вглядевшись в нее, саксофонист захохотал. «И это оказалась она самая, – говорил мне отец, – любовь с первого взгляда». Мама при этом обычно стонала, закатывала глаза и швыряла в него подушкой, но

мне рассказ все равно нравился: мама с папой тусовались в баре, а в итоге – вот он я.

Сохранилось фото, сделанное вскоре после той первой встречи, на пожарной лестнице в единственной части Госпорта, которая похожа на Ист-Виллидж в Нью-Йорке: парень с девушкой в одинаковых кожаных куртках и с одинаковыми сигаретами. Мама невысокого роста, сквозь черную густую челку проглядывают черные глаза: ни дать ни взять – неукротимая дикарка, а отец стоит позади, высоко держит сигарету, будто чертит ею в воздухе мамино имя, и смеется, обнажая неровные зубы: «Боже! Вы только посмотрите на эту потрясающую девушку!» У каждой пары в семейном альбоме, если он имеется, должна быть такая фотография. На этом снимке они бесстрашны, энергичны, полны надежд на совместное будущее.

Мама ушла от папы весной 1997 года, хотя, сдается мне, планировала свой уход заранее. Бизнес отца (небольшая сеть магазинов грампластинок) рухнул, и в ту злосчастную зиму, которая последовала за окончательным коллапсом, мы поняли, как сильно зависим от маминой решимости, стойкости и силы убеждения. Как же мы без нее? Должно быть, мысли об уходе из семьи были сродни выбору момента прыжка с потерявшего управление поезда: оставаться нельзя, но и безболезненно спрыгнуть не получится.

И мать медлила, не уходила. Помню, как она споро, энергично, без сантиментов освобождала последний отцовский

магазин от баракла, которое еще можно было спасти: складывала в коробки оставшиеся винилины и компакты, снимала ковролин, точно в каком-нибудь репортаже о семьях, оценивающих убытки после страшного наводнения. Еще помню, как с улыбкой, осторожно подбирая слова, она объявила, что мы должны съехать из родного дома. Продадим, вывободим какие-то непонятные для меня «активы» и сможем выплатить хотя бы часть долгов. Новый дом, совсем другой, поменьше, но, несомненно, уютный, даст нам шанс начать с чистого листа. Восстановить дыхание, встать на ноги: в доме звучал язык боксерского ринга, где мать была тренером, целеустремленным и несгибаемым, а отец – побитым боксером в синяках, обмякшим на стуле в углу.

Ночью мне не спалось, я встал, спустился в кухню и увидел, что мама работает с документами. В надежде услышать хоть что-нибудь ободряющее я с трудом выдавил:

- Так мы что... банкроты?
- Кто тебе сказал?
- Слышал ваши разборки.
- Подслушивать нехорошо.
- Да вы так орали, что...

Она вытянула руку и жестом подозвала меня к себе.

– Ну, в общем, да, только не мы и уж точно не ты, а папа, потому что бизнес оформлен на него, но это не страшно! – (Меня обволакивала ее спокойная уверенность.) – Банкротство – всего лишь юридический термин, это возможность

рассчитаться по долгам в случае провала... нет, не провала, а только прекращения деятельности. Это начало с чистого листа, чтобы никто не ломился к нам в дверь. Мы просто... закрываемся, каждый получает свою долю.

– Долю чего?

– Имущества. Всего, что осталось и что можно продать.

Я вспомнил снятый ковролин, полки, коробку с дисками, надписанную «Музыка разных стран». Мне слабо верилось в расчет с кредиторами, хотя в финансовых вопросах отец был порядочным человеком. Чтобы спасти бизнес, он наделал массу долгов, а когда магазины один за другим начали закрываться, принялся снимать деньги с секретных кредитных карт и с личных бизнес-счетов, пока средства и там не иссякли. В детстве я, не желая есть овощи, просто скидывал их с тарелки на пол. Стратегия отца была ничуть не лучше. Он построил пирамиду, в которой оказался одновременно и мошенником, и жертвой. Когда вся конструкция стала неминуемо рушиться, на него посыпались неоплаченные счета, долги по аренде и заработной плате. Он мучился от того, что не может угостить друзей в пабе, мучился, что не может выдать зарплату персоналу... Не важно, что банкротство давало возможность начать с нуля, – крах бизнеса превратил отца в правонарушителя, жулика.

– На самом деле нет худа без добра, – не сдавалась мама. – Если вдуматься, все хорошо, перед нами открываются новые возможности.

После этих слов становилось непонятно, как же мы выкарабкаемся при неблагоприятном раскладе.

В общем, дом на Теккерей-кресент стал для нас чем-то вроде наказания за грехи; так мы к нему и относились. После первого же дождя на потолках расплылись большие темные пятна. Включив дешевые калориферы, мы изнывали от жары и обливались потом в три часа ночи, а в четыре пополудни дрожали и синели от холода. Когда мы впервые приехали осматривать дом, папа рассказал, как подводники во время долгих морских походов преодолевали клаустрофобию. Они брали с собой только самые необходимые вещи, которые сразу после использования убирались в отведенные места. Но вместо того чтобы жить по принципу рационального минимализма, мы постоянно изыскивали место, куда бы сложить вещи. Дом-то мы осматривали без мебели, а теперь из-за выпукло-вогнутых стен казалось, что мебель, стиральная машина и телевизор вломились в наше жилище, чтобы нас оттуда выжить. Все было неисправно, все выглядело отстойно. Сотня мелких раздражителей: дверцы буфета не закрывались, в мелкую раковину не помещался чайник, ванна была слишком короткой, даже мама не могла вытянуться в ней во весь рост, несмотря на миниатюрные ножки. «Мне нужна ровная стена, чтобы повесить картину! Угол, чтобы поставить кресло!» Она всегда умела с юмором относиться к неудобствам – когда сворачивалась калачиком в палатке на продуваемом ветрами побережье Эксмур или ко-

гда ждала техпомощь на обочине, – но теперь потеряла эту способность. Мать оглушительно хлопала дверьми, дубасила по стенам, швыряла обувь: «Это здесь зачем? Обуви тут не место!» Она говорила про этот дом: «захламленный багажник». Неудивительно, что у нас, как у тех подводников, ехала крыша. Дом был ни при чем, но все же интересно, много ли семей распалось из-за некачественного остекления, поврежденных откосов, всех тех бытовых мелочей, которые ежедневно выбешивают любого.

Предки стали нам чужими, будто их умыкнули пришельцы и перекодировали в наших врагов. Мне всегда думалось, что взрослые примерно с двадцати одного года до шестидесяти пяти, когда их официально признают стариками, не меняются, в особенности родители. Разве окончание периода перемен – это не признак взрослости? Разве не в том их обязанность, чтобы оставаться такими, как прежде? Теперь отец, известный своей веселой и обезоруживающей мягкостью, все чаще злился. Такой эмоции за ним прежде не водилось. Ему некуда было девать свободное время, поэтому он заиклился на косметическом ремонте дома, отчаянно пытался заменить мутное зеркало в ванной комнате, протекающие окна верхнего света, хлипкую штангу душа. Он без конца прикручивал полки к гипсокартону с помощью чайной ложки, потом заделывал образовавшиеся трещины шпаклевкой, которую размешивал в миске для сухого завтрака и наносил ножом для масла, после чего смывал остатки в

раковину и, конечно, забивал слив. Кончалось все тем, что двери хлопали все громче и сквозь тонкие стены все чаще доносился шум перебранки.

В результате всех этих неурядиц сжатая пружина распрямлялась, и мама вылетала за дверь. Она легко, как мне показалось, устроилась на работу в местный гольф-клуб, где помогала организовывать мероприятия: свадьбы, торжественные годовщины, юбилейные вечера. Работу в таких организациях мама никогда для себя рассматривала, считая их провинциальными и старомодными, но она всегда была толковой, способной к убеждению, очень обаятельной, да и зарплата здесь оказалась гораздо выше сестринской. Мать говорила, что тому, кто имеет опыт ночного дежурства в переполненном геронтологическом отделении, не страшны ежегодные общие собрания Ротари-клуба. Фактически это одно и то же! И вот мы уже привыкли к тому, что каждую субботу по утрам она уходит в туфельках на высоком каблуке, а домой приезжает в ночь на воскресенье. Перед телевизором она теперь красила ногти и гладила блузки. Подумать только – блузки! Сама мысль о том, что у матери могут быть такие вещи, как блузки или комбинации, юбка-карандаш, кожаный органайзер, собственный адрес электронной почты (я тогда впервые узнал, что это такое), казалась нелепой, но вполне сносной, если в результате нам не приходилось переживать из-за счетов за электричество. Мы могли бы даже привыкнуть к тому, что отец постоянно торчит дома, к преувеличен-

ной, нарочитой веселости, с которой он накрывал завтрак, проверял наши домашние задания и таскал сумки из магазина. Мы постепенно восстанавливали дыхание и снова вставали на ноги.

Однако беспокойство никуда не делось; мы с Билли тревожно ворочались в кроватях, не в силах заснуть, и вслушивались в доносившиеся из-за стенки голоса, которые то верещали, то орали, то смягчались. «Кажется, у папы крыша едет», – как-то вечером сказала Билли. «Едет крыша». Эти слова превратились в секретный код, которым мы обозначали папино состояние, когда видели, что он замер, уставившись в одну точку.

Мать продолжала тянуть ляжку. Она завела новых друзей, дольше задерживалась на работе, удостоилась благодарности и премии за сверхурочную работу, сменила гардероб и прическу, на что отец реагировал со злобным сарказмом, совсем для него не характерным. Мать всегда решительно и без сантиментов отстаивала левые взгляды. А тут ее стало интересовать: удастся ли посадить вертолет с невестой на 18-м фэрвее? Родители все реже встречались глазами, если не считать случаев, когда мама говорила по мобильнику (по мобильнику!) в нерабочее время. Тут оба сверкали глазами и едва сдерживали ярость, а мама переходила на какой-то чужой, незнакомый отцу голос. Это было не просто угасание любви. По капле испарялись уважение и понимание, а мы ничего не могли сделать, чтобы сдержать этот процесс, и по-

степенно боязнь неизбежного подползала, как змея, а поутру, обвившись вокруг шеи, душила все мои мысли.

Перед самой Пасхой, в последнюю свою школьную весну, я подкатил на велике к дому после очередного скучного буднего дня и был встречен непривычной тишиной. Я решил, что дома никого нет, а потому испугался и даже вскрикнул, увидев, как на диване съежился отец с красным от слез лицом и зябко кутается в джемпер.

– Мама ушла, Чарли, – всхлипнул он.

– На работу?

– Я не так выразился: она кого-то встретила.

– Пап, о чем ты?

– Пожалуйста, сынок, не заставляй меня говорить это вслух. Она ушла, ушла к другому!

– Но она же вернется, правда? Она скоро вернется?

Я и раньше пару раз видел, как отец плачет, но то было в гостях или на свадьбах: от избытка чувств у него краснели глаза, но никогда не было такого жуткого выражения лица, как сейчас. Наверняка ему случалось плакать и раньше, но тайком. А теперь он лежал, свернувшись клубком и словно закрываясь от ударов; хотелось бы мне сейчас сказать, что я произвольно его обнял или попытался утешить. Но нет: я стоял поодаль, как сторонний наблюдатель, который не способен помочь и не желает связываться; в смятении, так и не решив, что мне делать, я просто выбежал на улицу, вскочил на велосипед и покатил прочь от дома.

Билли возвращалась из школы и, сворачивая в калитку, заметила меня:

– Что стряслось, Чарли?

– Беги скорее к отцу.

Она в испуге вытаращила глаза:

– А в чем дело? Что случилось?

– Не тормози! – заорал я и, оглянувшись, увидел, как она припустила к дверям.

Моя двенадцатилетняя сестрица должна была сообразить, что надо делать. А я приналег на педали, выехал из нашего района, а потом на кольцевую – нужно ведь было выяснить, взаправду ли мама нас бросила.

Как в лучших домах

Гольф-клуб, как и его завсегдатаи, отличался неуместной кичливостью и напыщенностью. Если бы не прилепленная с одного боку оранжерея постройки восьмидесятых годов, это побеленное здание с зубчатыми стенами могло бы стать местом действия какого-нибудь детектива Агаты Кристи; иногда мать брала меня с собой, и я успел возненавидеть запах мужского лосьона и джина с тоником, и доносившийся из бара гогот, и оглушительную классическую музыку: закольцованный «Голубой Дунай» настигал тебя даже в уборной, где на уровне глаз висели непонятные карикатуры на темы гольфа. Мне было ненавистно и мамино поведение в этом месте: она изменяла голос и надевала этот шутовской жилет. А сама приговаривала: «Как в лучших домах». Я никогда особо не хулиганил, но от этих слов мне хотелось выхватить у кого-нибудь из топтавшихся в вестибюле жлобов тяжелую клюшку и пойти крушить бесчисленные вазочки с сухими цветочными лепестками, пакетики печенья, а также боковые зеркала оставленных на парковке «БМВ» и «рейнджроверов», которые я сейчас обдал гравием, соскочив с велосипеда и бросив его с вертящимися колесами, а сам вошел в здание.

– Извините, вам помочь? Вы кого-то ищете? Прошу прощения, молодой человек! Молодой человек, стойте!

Администраторша колотила по кнопке звонка, динь-динь-динь, а я, покрутив головой, увидел маму, которая выходила из бара, топ-топ-топ, короткими шажками, каких требует узкая юбка, и улыбалась – улыбалась! – как будто я приехал узнать стоимость рождественского корпоратива с танцами.

– Благодарю, Дженет, я все улажу. Здравствуй, Чарли...

– Папа говорит, ты ушла из дома.

– Давай пройдем вот сюда, хорошо?

Она взяла меня за локоть и потащила через вестибюль...

– Это правда?

...как охранник – магазинного воришку, чтобы скрыть от посторонних глаз в каком-нибудь конференц-зале или офисе...

– Чарли, я же оставила тебе письмо. Ты прочел письмо, Чарли?

– Нет, я сразу к тебе поехал.

– Ну, не знаю, я просила его передать тебе письмо из рук в руки.

...но все помещения оказались заняты, и она всякий раз изображала профессиональную улыбку, прежде чем торопливо закрыть очередную дверь.

– Мама, это правда? – Я вырвал локоть из ее тисков. – Говори!

Ее улыбка померкла. Крепко взяв меня за руку, мама на миг коснулась моего лба своим, затем покрутила головой,

надавила плечом на какую-то дверь и втощила меня в душный чулан без окон, где все звуки поглощались рулонами туалетной бумаги и ручных полотенец. Нас окружали ведра и швабры.

– Чарли, сюда нельзя врываться...

– Нет, ты скажи: это правда, что ты переезжаешь?

– Пока так.

– Куда? Я ничего не понимаю.

– Все ответы были в письме. – Она поцокала языком. – Я просила передать...

– Скажи мне сама! Пожалуйста!

Она вздохнула, как будто из нее выпустили воздух, позволила себе сползти по стенке и, осев на пол, согнула ноги в коленях.

– В последние годы жить с твоим папой было нелегко...

– В самом деле? Почему-то я не замечал, чтобы...

– ...всем нам было нелегко. Поверь, я старалась как могла, чтобы мы остались вместе, и я по-прежнему его люблю, я всех вас люблю. Но... – Она запнулась, нахмурилась, облизнула губы и принялась тщательно подбирать слова, одно за другим. – У меня появился новый друг. Здесь. На работе.

– Какой еще друг?

– Об этом сказано в письме, не знаю, почему он не передал тебе мое письмо...

– Ладно. Пойду за этим хваленным письмом... – И я начал перебираться через ее ноги, пиная ведра и сшибая на пол

швабры.

– Прекрати, Чарли. Сядь. Сядь! Кому сказано! Вот сюда! – Дернув меня за руку, она насильно усадила меня на пол; наши ноги переплелись на кипах туалетной бумаги. – Его зовут Джонатан.

– Он тут работает?

– Да, занимается организацией корпоративов.

– Я его видел?

– Нет. Билли видела, когда приходила ко мне на работу.

Нет, сегодня у него нерабочий день, так что оставь свои планы.

– И давно вы...

– Пару месяцев.

– Но ты только в январе сюда устроилась!

– Да, именно с этого времени мы и стали очень хорошими друзьями.

Я старательно изобразил горький смешок.

– Что за детский сад, Чарли?

– «Мы стали очень хорошими друзьями». Так выражаются девяностолет...

– Ну хорошо, *любовниками*. Так лучше?

– Мама, я тебя умоляю...

– Я могу обращаться с тобой как с ребенком, если тебе так больше нравится. Ты требуешь, чтобы я...

– Нет, я просто хочу...

– ...объяснила, что происходит, и я пытаюсь это сделать.

Ты злишься, оно и понятно. Этого следовало ожидать, но я также ожидала, что ты проявишь уважение и выслушаешь. Ясно? – Она оттолкнула ногой ведро. – Господи, покурить бы сейчас!

Я похлопал себя по карманам.

– Не смешно. Ты что, куришь?

– Нет!

– Если закуришь, я тебя прибью...

– Не закурю. Рассказывай.

– Я познакомилась с Джонатаном здесь. Он вдовец, воспитывает двух дочерей-близняшек. Это хороший человек, очень хороший, мы с ним разговорились. Я рассказала ему про папу, он отнесся к этому с пониманием, так как сам натерпелся всякого, и мы стали друзьями, а потом... больше чем друзьями. И нечего на меня так смотреть. Это не редкость, Чарли, когда-нибудь ты и сам поймешь. Состоять в браке – это совсем не означает любить одного человека всю свою жизнь...

– Вот именно что означает! А иначе для чего жениться? Вот, смотри... – Я взял ее за руку и указал на обручальное кольцо, которое никуда не делось, а она стиснула мне ладони.

– Да, да, так должно быть, да, но здесь все так запутанно, Чарли, так сложно, болезненно: случается, что у тебя возникают чувства к разным людям, совершенно искренние и прочные. Когда вырастешь, ты сам узнаешь...

Как только эти слова слетели у матери с языка, она явно

захотела всосать их обратно, только было уже поздно. Ее речи взбесили меня еще сильнее, чем поведение «как в лучших домах»; я распахнул ногой дверь, и мать прижала руку к моей коленке, чтобы успокоить.

– Ну не надо! Не надо! Чарли! Послушай, я не сомневаюсь, что твой папа – любовь всей моей жизни, и ты тоже не должен в этом сомневаться. Но сейчас я стала ему нянькой – не женой, не спутницей жизни, а нянькой, но иногда... иногда в душе вспыхивает реальная ненависть к тем, кого приходится опекать, именно потому, что ты *вынуждена* их опекать....

– У тебя вспыхнула к нему ненависть?

– Да нет же! У меня нет к нему *ненависти*, я его люблю, ты не расслышал? В письме я выразила все это гораздо яснее...

– Рассказывай!

– Господи, я...

Но голос ее обо что-то споткнулся. В глазах появился маслянистый блеск, она зажмурилась и вдавила в глазницы кончики пальцев.

– Я устала, Чарли. Я очень, очень устала. Да и ему не на пользу, что я все время под боком, я не могу всю жизнь с ним нянчиться. Понятно, что ты считаешь меня старушкой, но по собственным ощущениям я слишком молода, чтобы вот так... гробить свою жизнь.

– Значит, ты уходишь.

– На какое-то время – да, я переезжаю.

– Это бегство.

– Но я ему не нужна! Про Джонатана он знает, мы все обговорили, больше невозможно... – Она застонала от досады. – Я делала все, что в моих силах! Все, и ты это знаешь! Если тебе не надоело слушать, как мы с папой уже не один год ночами ругаемся, кричим друг на друга, шипим...

– Когда я пришел домой, он лежал свернувшись клубком...

– О боже, Чарли, такое решение далось мне нелегко, это не шуточное дело; но поверь, так будет лучше!

– Лучше для тебя – возможно.

– Нет, для всех!

– «Жестокость добра»?

– В этом есть доля...

– Потому что ты совершаешь гнусную жестокость...

– Ну довольно! – резко сказала она и с хрипом запустила пальцы себе в волосы, как будто хотела оторвать себя от пола. – Господи, Чарли, ты только усложняешь мое положение.

– А ты хотела, чтобы я его облегчил?

– Ну да, честно скажу, я бы не возражала, – прохрипела она, а потом выдохнула, готовясь себя поправить. – Нет. Ты говоришь именно то, что у тебя на уме. – Ее ладони козырьком прижались к бровям. – Что еще ты хочешь узнать?

– Ты переезжаешь к...

– К Джонатану. Пока так, да.

– Надолго?

– Не знаю. Там видно будет.

– А мы с Билли останемся жить с папой.

– Понимаешь... – Она покусала губу, обвела глазами стену и продолжила, с особой тщательностью и осторожностью подбирая слова: – На данный момент все складывается так, что Билли тоже переедет и будет жить со мной, а ты останешься с папой.

У меня перехватило дыхание; я не сразу смог заговорить.

– Можно я тоже?

– Что?

– Можно мне тоже с тобой?

– Я не...

– ...вместе с тобой и с Билли?

– Ох, Чарли...

– Я серьезно! Возьми меня с собой.

– Это невозможно!

– Иначе я свихнусь.

– У Джонатана семья – дочери-близняшки.

– Ну и пусть, мне-то что?

– Там для тебя не будет спальни.

– Я на диване могу спать.

– Чарли, мне нужно, чтобы ты остался с папой!

– Да почему я?

– Потому что... ты старше...

– А *ты* еще старше!

– Ты всегда был с папой близок...

– Нет, мы с ним совсем не близки, просто тебе удобней так считать.

– Когда ты был маленьким, вы с ним очень...

– А теперь не очень!

– Допустим, но это можно исправить, можно снова сблизиться.

– К тебе я ближе, я хочу переехать вместе с тобой и с Билли! – Как мог, я старался не паниковать, говорить ровно, чтобы не показывать страха, но, к своему стыду, почувствовал, что плачу...

– Чарли, я же не в другую страну переезжаю. Я останусь поблизости, в противоположном конце улицы! А с Билли ты каждый день будешь видеться в школе!

...реву, как в четыре-пять лет, истошно, взхлеб.

– Тебя не будет дома по утрам, когда мы просыпаемся, тебя не будет по вечерам...

– Вы прекрасно справитесь. Папе в радость побыть с тобой вдвоем...

– Это ужас какой-то! Я хочу с тобой!

Теперь она тоже заплакала и попыталась меня обнять, а я попытался ее оттолкнуть.

– Что я могу поделать, Чарли? Я тебя люблю, но я так несчастна, ты даже не представляешь, ты думаешь: раз мы взрослые, то... я знаю, это с моей стороны эгоистичный поступок, знаю, что ты меня возненавидишь, но я должна попробовать *хоть что-то* изменить. Я должна это сделать и

посмотреть, что получится...

Внезапно она рухнула на меня, получив толчок в спину: кто-то ломился в чулан.

– Кто там? – закричал мужской голос.

– Грег, уйди! – отозвалась мама, привалившись к двери.

– Эми? В диспенсере полотенца закончились, пусти, мне надо рулон взять!

– Уйди. Исчезни!

– С кем ты там обжимаешься? Вот нахалка...

Она с силой хлопнула по двери ладонью.

– Грег, прошу тебя как человека... вали отсюда нафиг! –

А потом, одними губами, мне: – Извини!

Мы немного выждали, лежа на полу и не расцепляясь; чулан превратился в кабину лифта, опустившуюся в цокольный этаж. Я уже плохо понимал, где мои руки-ноги, а где мамыны, но каким-то чудом она нашла мою руку, стиснула мне кончики пальцев и попыталась улыбнуться. Пошатываясь, мы поднялись на ноги. Мать заметила, что ее узкая юбка облеплена клочьями бумажной пыли, и принялась отряхиваться.

– Господи, ты только посмотри. А как у меня... – Она обвела пальцем глаза.

– Как панда, – ответил я, и она, вытащив из складской упаковки целый рулон туалетной бумаги, принялась вытирать сначала один глаз, потом другой.

– Я начну переводить тебе деньги, ты сможешь звонить

мне в любое время, а я буду заезжать примерно раз в неделю – удостовериться, что ты держишься молодцом. Не просто держишься, а всем доволен, хорошо питаешься.

Остатки рулона мама забросила, как мяч, на самый верх металлического стеллажа.

– Думаю, для тебя мало что изменится. Может, еще и лучше будет. Мальчишки всегда заодно! Будешь делать уроки, спокойно готовиться к экзаменам. Если что – я помогу! Время сейчас совсем неподходящее, я понимаю, но, по крайней мере, ты не будешь постоянно жить на поле боя.

– Я буду жить в дурдо...

– Прекрати! – рявкнула она. – Сейчас же прекрати!

И, резко отвернувшись, потянулась за цилиндром бумажных полотенец, чтобы деловито, как будто мое собеседование бесславно закончилось, сунуть этот барабан под мышку.

– Ты уже большой и должен понимать такие вещи, Чарли. – Она придержала открытую дверь. – А если до тебя не доходит... ну что ж. Придется повзрослеть.

Углы

После их отъезда меня преследовало отчетливое видение нашего домашнего будущего: жилье-пещера, пол усыпан звериными костями, как в первых кадрах «2001», мы с отцом общаемся при помощи фырканья и рева. Чтобы не скатиться до полной деградации, требовались определенные усилия, и во мне вдруг проснулась тяга к порядку. Я быстро разобрался, для чего нужен сушильный шкаф, как работает комнатный термостат, что нужно делать, если погасла горелка бойлера. Охалка порозовевших школьных рубашек, вытащенная из стиральной машины, научила сортировать вещи на белые и цветные, а растущая стопка конвертов, по-прежнему приходящих в основном на имя матери, подсказала, как подделывать материнскую подпись.

К сожалению, не могу похвастать, что я научился готовить. Зато научился заказывать еду на дом. Разнообразное, сбалансированное питание теперь понималось как строгое чередование блюд индийской, китайской и итальянской кухни (последняя сводилась к пицце), которое укладывалось в трехдневный цикл, а четвертый день проходил под девизом «остатки сладки» – мы устраивали нечто вроде шведского стола из недоеденной глобальной жратвы, разогретой в микре. Все телефоны служб доставки я уже знал наизусть, но вскоре даже радости дешевой, низкосортной пищи ока-

зались нам не по средствам, и деликатесы великих кулинарных держав начали чередоваться с отцовским изобретением под названием «папина паста бол» – самая большая кастрюля слипшихся комьями, как мощные кабели подвесного моста, недоваренных макарон с добавлением бульонного кубика «Оксо» и половиной тюбика томатной пасты, а иногда, в ночные часы, с чайной ложкой карри, отчего блюдо преобразовывалось в «папину пасту „Мадрас“». Без сомнения, в Елизаветинскую эпоху матросов кормили более здоровой и сбалансированной пищей; мы не голодали, но взяли за правило набивать рты, будто наперегонки, не успев даже поставить на колени тарелки, и вскоре у каждого из нас на языке появился налет, а кожа стала жирной и бледной, какая бывает у тех, кто заменяет овощи соусом песто. Мы скатывались в нездоровый во всех отношениях образ жизни, но, должен признаться, было в этом и какое-то извращенное удовольствие. «Тарелку возьми, – требовал папа, видя, как я наворачиваю холодное карри прямо из фольги, – мы же не пещерные люди». Наверное; хотя недалеко от них ушли.

Время от времени мы восставали против такой жизни, шли пешком лишнюю милю до супермаркета и вдобавок к белому хлебу в нарезке и дешевому мясу бросали в тележку чечевицу, яблоки, лук, сельдерей. Бодро шагая к дому, фонтанировали планами на сытные супы, рагу с перловкой, блюда из кулинарных телепрограмм: мясо в горшочках по-мексикански, паэлью, ризотто. Папа врубал какую-то допотоп-

ную какофонию – обычно это были Джин Крупа или Бадди Рич. «Давай-ка устроим тут пароход», – говорил он точь-в-точь как в годы моего детства, когда мы поджидали маму, и в нас вселялся тот же заговорщический дух единения: мы протирали вазу для фруктов и с верхом нагружали ее персиками, киви, грушами и ананасами. В мусорное ведро летели последние сигареты (их я потом откапывал), пепельницы ополаскивались и убирались на верхнюю полку. «Все у нас путем, верно? – повторял отец. – Мальчишки всегда заодно. Справляемся». И менял пластинку. Музыка показывала отцовское настроение с точностью измерительного прибора. Я был обязан слушать (да-да, реально *слушать*, то есть сидеть, не горбиться, не листать газету, не отвлекаться) «A Love Supreme» или «The Amazing Bud Powell», причем сначала одну сторону, потом другую, ведь «это как великий фильм: ты же не станешь смотреть только половину». А сам он стоял у проигрывателя, дергал головой, поднимал указательный палец (внимание: вот сейчас!) и не сводил глаз с моего лица – проверял, услышал ли я то, что надо. И порой, крайне редко, словно подхваченный приливной волной, я почти – почти – увлекался. Но в основном выполнял упражнение на терпимость, силясь полюбить хоть что-нибудь из того, что любил он. «Вот это сильно!» – говорил я, не отличая сильного от слабого и улавливая только общий фон щеточек по тарелочкам, который втайне приравнивал к мелодии «Розовой пантеры».

Но папин оптимизм был неустойчив, и я вскоре понял, что его временный душевный подъем всегда оплачивается равнозначным упадком. Мрачность напознала, как туман, а музыка сменялась непрерывной вереницей телепередач, которые не увлекали и не радовали. Груши оставались твердокаменными, а персики превращались в кашу. Киви начинали бродить и лопаться, ананасы усыхали, на дне вазы скапливалась неопишуемая липко-черная жижа. Вытряхивая содержимое в мусорное ведро, отец каждый раз стыдился, что не сумел реализовать свой план – вернуть хоть сколько-нибудь достоинства в наше житье-бытье и движение по жизни. А потом у него заканчивались сигареты.

Что же до бросившей нас матери, я по-прежнему ее ненавидел, но теперь моя ненависть приобрела какой-то рассудочный характер: она в некотором смысле уподобилась семейной жизни, которую сперва нужно выстраивать, а затем поддерживать. Более инстинктивным чувством оставалась боль от предательства, которая обострялась с каждой нашей встречей, напоминая, что меня не взяли с собой.

Но при этом я испытывал, можно сказать, некоторую гордость оттого, что остался маминым представителем. Меня ни разу не выбирали старостой класса, но дома я, наверное, выполнял сходные функции, а потому всегда хотел заранее знать о ее приезде, чтобы создать впечатление разумного порядка: взбивал подушки, освобождал холодильник от контейнеров из фольги, следил, чтобы отец прилично выглядел

и был опрятно одет, а если в назначенный день это не представлялось возможным – чтобы вообще не высовывал носа. При заблаговременной договоренности мамы визиты носили характер инспекций. Я следил за ее взглядом, который фиксировал все. В раковине нет грязной посуды – это хорошо; чистые кухонные полотенца, на веревке колышется свежестыранное белье – приятно посмотреть. Для меня важнее всего были материнские угрызания совести: я ворошил их, как угли, потому что хотел ее вернуть. Но не по причине нашей беспомощности. Даже поддерживая в себе ненависть, я хотел, чтобы она мной гордилась.

В тот день, когда я познакомился с Фран Фишер, мама уже хлопотала на кухне, расставляя на полках привезенные съестные припасы. Я наблюдал за ней с порога: одними ногами она достала из хлебницы заплесневелую корку и бросила в мешок для мусора. Где-то в доме билась в стекло жирная мясная муха, стремясь к послеполуденному свету, а мама, не прекращая выгружать продукты, бормотала себе под нос мелкие замечания и придирки.

– Привет, – сказал я.

Она бросила на меня взгляд через плечо:

– Где ты был?

Не твое дело. Наш разговор сопровождался бегущей строкой, так же легко читаемой, как субтитры иностранного фильма.

– Выходил проветриться. На велике катался.

– Папа тоже вышел проветриться?

– Похоже на то. – *Слава богу, тут не отсвечивает.*

– Не знаешь, где он может быть?

– Понятия не имею. – *Носится где-то в бешенстве.*

– Он много спит?

– Вроде нет. – *По ночам – немного. Так, ближе к вечеру, на диване. Все из-за тебя.*

– С кем-нибудь общается?

– Только со мной. – *Опять же из-за тебя.*

– Опрятен?

– Как всегда. – *Не бреется, пьянствует; белье не меняет неделями. Из-за тебя.*

– Он не говорил, что собирается искать работу?

– Говорил, да.

Это лишь отчасти было правдой. В те дни, когда наше совместное нахождение в доме становилось невыносимым, отец хватал две ручки, бумагу и, переключив телевизор на «Сифакс», выводил на экран каталоги вакансий. Неужели кто-то из нас двоих виделся ему слесарем-газовщиком? Страховым агентом? Нефтяником? Мы примерялись к новым профессиям, как дети: просунуть голову в круглое отверстие и решить, какая роль нам к лицу – машинист паровоза, ковбой, астронавт... При любом варианте ответ получался отрицательный, да и занятие это всегда удручало и вызывало глубокую неловкость. Не пристало отцу и сыну сообща занимать-

ся поисками работы – это еще хуже, чем вместе смотреть интимные сцены, и вскоре мы, переключившись на прежнюю программу, меняли тему, чтобы больше ее не касаться. Сейчас тему сменил я.

– Как там *Джонатан*?

Джонатан – совершенно нормальное имя, такое трудно произносить с издевкой.

– Все хорошо, спасибо, что спросил, – ровным тоном ответила мама и открытой ладонью захлопнула дверцу кухонного шкафа, потом еще раз и еще, пока шкаф наконец не закрылся. *Бац-бац-бац*. Положив руки на стойку, мать перевела дух. – Знаешь, что для меня самое лучшее на новом месте? Что там нет джаза и есть масса желанных *углов*!

– Главное – чтобы тебе было хорошо, мамочка, – процедил я, прекрасно зная: помани она меня пальцем – и я помчусь наверх, чтобы тут же побросать вещи в рюкзак.

Наверное, она тоже это знала, потому что на сей раз тему сменила она.

– Как проводишь лето? Ну, в общем и целом.

– На велике катаюсь. Читаю.

– Читаешь? Раньше за тобой такого не водилось.

– Зато теперь водится.

– Сколько лет мы тебя пилили: читай, читай...

– Ну, наверно, в этом все и дело: вы меня пилили...

– Хм... Да, теперь я вижу, что это из-за меня. Ну, по крайней мере, бываешь на свежем воздухе. У тебя компания есть?

Я только что познакомился с обалденной девчонкой – неужели у меня повернулся бы язык такое сказать? Говорят, некоторые ребята могут открыто и честно разговаривать с предками, без пикировки, сарказма и лицемерия. И кто же, интересно знать, эти фрики? Но даже подбери я нужные слова, момент был упущен. С улицы донесся отцовский голос, притворно оживленный и громкий:

– Приветик, Билли! Какими судьбами?

Мать, собравшись с духом, отвернулась к навесным шкафчикам.

– Только не ругайтесь, – прошептал я, но отец уже стоял в дверях, неумело изображая гордый вызов.

– Вижу, ты все еще тут? – сказал папа.

– Нет, Брайан, уже пятнадцать минут, как ушла.

– Я вернулся только потому, что надеялся тебя не застать.

– Разве ты перед домом не заметил мою машину? Она, конечно, маленькая, но не до такой же степени.

– Что на этот раз увозишь?

– На самом деле я кое-что привезла – съестное, которое не подают к столу в контейнерах из фольги. Но могу и забрать.

– Да, сделай одолжение.

– Это в основном для Чарли...

– Ему всего хватает. Спасибо, у нас с ним все прекрасно.

Не отворачиваясь от шкафа, мать подняла над головой открытую банку малинового варенья, откуда вылезали белые комочки плесени, похожей на сахарную вату. Банка грохну-

лась в раковину.

Мне уже было понятно, что за этим последует: звук будет нарастать, а потом резко оборвется со стуком двери; поэтому я вышел и направился к маминой машине, где, склонив голову и зажав рот ладонью, словно кляпом, сидела над книжкой Билли. День выдался жаркий, но окно было наглухо задраено, и мне пришлось постучать в стекло, причем дважды, что в тот день огорчило меня больше всего остального. Насколько близки были мы с сестрой? Раньше мы с ней привычно подкалывали и выбешивали друг дружку, но в черные дни родительских перемен у нас возникла настороженная солидарность, и между нашими койками, верхней и нижней, заметались шепотки, как у новобранцев, угодивших в подчинение к пьющим офицерам, которые давно забили на службу. Теперь наш союз распался, и даже в самых пустых разговорах нам стало мерещиться нечто провокационное. Если на новом месте сестра всем довольна – это предательство, если недовольна – это очередной повод для злорадства.

Билли выждала, чтобы стекло опустилось до предела.

– Все норм?

– Ага.

– Ругаются?

– Только начали, – ответил я и посмотрел на часы, как будто родительская перебранка была приурочена к определенному времени.

– Ну как тут дела?

– Как обычно. А там как?

– Отпад.

– Как *близняшки*?

В новом положении Билли мы смогли найти единственную и незатейливую забаву: отводить моей сестре роль Золушки.

– Близняшки? Ой, такие *спортсменки*, что ты! Шкаф не открыть: со всех полок сыплются футбольные мячи, хоккейные клюшки, бадминтонные сетки. И меня все время зазывают, как бедную сиротку, чтобы я поскорей освоилась и мы сблизились или типа того, клюшки-подружки. Они такие: «Билли, айда играть в лакросс!» А я такая: «У нас сегодня физра, что ли? Я спортом занимаюсь только по расписанию». На них посмотришь – вечно в спортивных лифонах, то растяжки, то стяжки, уж не знаю что. И папаша у них такой же, игрун. «Билли! Лови». «Нет... *пасуй мне*». А когда не играет, сидит целыми днями перед ящиком и крикет смотрит.

– Что? И мама с ним?

– Ну да, хотя у нее через три минуты глаза соловеют. Она это называет «делать над собой усилие», а я – «прогибаться». Мама даже в *гольф* пробовала играть. Просто мрак. «Поскольку, – говорит, – мы тут в гостях, нужно *делать над собой усилие*». Усратья можно: гольф!

Билли начала сквернословить – это было нечто новенькое. Застенчиво, исподтишка. Как ребенок, притворяющийся, будто курит; я увидел в этом какую-то фальшь, и мы оба,

не сговариваясь, поглядели в сторону дома.

– Может, зайдешь?

– Не-а. Пусть сами разбираются. Отец все такой же, Папа-Псих?

Открыв автомобильную дверь, я с оглядкой, как осведомитель, скользнул на заднее сиденье.

– В основном держится, но небольшие закидоны бывают: сидит у себя допоздна, бухает, хотя ему нельзя, он же на таблетках. Иногда его целыми днями вообще не видно. – Из дома прилетел визгливый мамин голос, захлопали дверцы посудных шкафов. – Мне тут обрыдло. И раньше-то было не в кайф, а теперь вообще обрыдло.

Билли потянулась назад и погладила меня по руке.

– Будь *сильным*, брат мой, – сказала она утробным голосом, как в «Звездных войнах».

Мы с ней расхохотались, и я впервые за все время отважился на робкую попытку:

– Скучаю по тебе.

– Ой, вот только не надо, – сказала она и добавила: – Я тоже.

Но тут из дома показалась мать; она с грохотом хлопнула дверь, которую тотчас же распахнул отец, чтобы потом хлопнуть самому. А пока он застыл на пороге, сложив руки на груди, как фермер на защите своего ранчо. Я выскочил из машины и тоже хлопнул дверью – научимся ли мы снова закрывать двери без лишнего шума? – и мама, как испол-

нительница трюков, рванула с места задним ходом, буксуя и надсаживая двигатель, а потом умчалась прочь.

Я успел заметить, как Билли выставила из окна подбородок и покрутила пальцем у виска, поднял на прощанье руку и вернулся в дом – в свой лагерь.

Игра в слова

Впервые за месяц я завел будильник.

Но почему-то не мог уснуть (*форма носа, голубоватые тени, изгиб крупного лба, россыпь веснушек и прыщиков*) и, час за часом беспокойно ворочаясь, наметил план: появлюсь в девять тридцать, вольюсь в ту фигию, которой они там занимаются, дождусь перерыва на чай, ну в крайнем случае обеда, небрежно подвалю к Фран, напомним про телефончик и, как только им разживусь, припущу оттуда во все лопатки, как Индиана Джонс – от гигантского валуна.

Я перебирал в уме подходящие реплики: *классно вчера потрепались; как твоя лодыжка; слушай... это... стесняюсь спросить...* Не исключаю, что я даже проработал свои фразы вслух, особенно когда экспериментировал с американским акцентом в приглашении на кофе. «*Кофе хочешь?*», «*По кофейку?*», «*Давай, что ли, кофе возьмем?*», «*По чашке кофе?*». Но если слово «кофе» вызывало такой напряг, то стоило, наверное, переключиться на чай, хотя «чашечка чая» – это из лексикона старушек в чепцах. Чай – невразумительная, асексуальная жидкость; кофе – напиток более темный, едва ли не пьянящий. В чайной «Домашний каравай» можно было заказать френч-пресс, и я воображал, как Фран, подпирая ладонью подбородок, крутит в свободной руке кусочек сахара, пока я рассказываю ей что-нибудь увлекатель-

ное, а потом вдруг запрокидывает голову и хохочет, когда я ударяю кулаком поршень, как детонатор. *Слушай, давай перейдем куда-нибудь в нормальное место, где хотя бы выпить можно?*

А куда идти? Позвать ее сюда, чтобы в спальне она увидела детскую двухъярусную кровать, а в гостиной – приросшего к дивану неврастеника, я, естественно, не мог, а приглашать такую девушку, как Фран Фишер, на качели в парк «Собачьи кучи» просто невысказано, хоть с сидром, хоть без. Или это дурной тон – предлагать ей сидр? Может, лучше импортное светлое пиво, не баночное, конечно, а какое-нибудь забойное? Или принести с собой фляжку с водкой? Что предпочтительнее: чай или кофе, пиво или водка, бутылка или банка? Заснул я около шести утра, а в восемь проснулся по будильнику, вскочил и побежал в душ, стараясь не разбудить отца и заклиная, чтобы вода лилась бесшумно, а потом с хирургической тщательностью побрился. Взял с полки дезодорант «Ацтек» («Вот, значит, что сгубило ацтеков», – приговаривал отец, втягивая ноздрями запах) и распылил на себя добрую половину флакона, причем каждой подмышке достался слой толщиной с коросту глазури на свадебном торте. Аж хрустнуло, когда опускал руки.

В надежде на мгновенный результат я, как заключенный, подсунул пальцы ног под боковину койки, чтобы сделать пятьдесят подъемов туловища из положения лежа, но осилил только двадцать, причем каждый раз стукался затылком

о плитус. Запихнул в рот два тоста и торопливо нацарапал хамскую записку, в которой без подробностей – а откуда было взяться подробностям? – сообщил, что ухожу на весь день, оседлал велосипед и помчался от серповидного Теккерей-кресент привычным маршрутом – по Форстер и Киплинг-роуд, вдоль по Вулф, далее по Гаскелл, по Бронте и по авеню Томаса Гарди, оттуда на кольцевую и наконец на ревущее в утренний час пик шоссе. На окраине стоял белый муниципальный знак границы города с бесхитростной надписью «Хороший город» (причем по-латински: «Bonum Oppidum») – на большее местные власти, очевидно, не отважились.

Я продолжал путь по тихим дорожкам, мимо тоннельных парников и почти наобум – через пшеничные поля. Слишком рано свернул, пришлось возвращаться, остановился под бетонным козырьком автобусной остановки, в каком-то тенистом переулке с низко нависающими ветвями. Перевел велосипед на противоположную сторону и поехал в гору.

День выдался жаркий, солнечные лучи испарывали зеленый покров. Задыхаясь и отдуваясь на подъеме, я увидел знакомую тропинку, но решил обставить свое появление более официально и продолжал путь, пока не увидел маленькую фахверковую сторожку. За двумя створками ворот, из пяти прутьев каждая, вилась подъездная дорога, которая уходила в рощу, скрывавшую дом от посторонних взглядов. Табличка на воротах гласила: «Усадьба Фоли». Я привстал

на педалях, но колеса скользили по гравию; пришлось сдаться и дальше идти на своих двоих. Подъездная дорога тянулась вдоль опушки рощи, а потом расширялась и упиралась в лужайку между двумя старыми тисовыми деревьями. Особняк был типичным образцом зодчества примыкающих к Лондону графств: он вобрал в себя все значительные приметы последнего тысячелетия – колонны и портики, свинцовые оконные переплеты с ромбовидным узором, гравийную засыпку между накладными фахверковыми брусьями, спутниковую антенну, притаившуюся в зарослях плюща. Будь я получше образован, дом, вероятно, не произвел бы на меня такого впечатления, но я ошалел от его размеров, уединенного местоположения и очевидной древности. Впервые в жизни я почувствовал, что значит быть непрошеным гостем, на которого вот-вот бросится свора охотничьих собак, привлеченных хрустом гравия. Ища, где бы поставить велосипед, я разглядел живописный пруд с золотыми рыбками, разбросанные крокетные молоточки, голубятню – и все это великолепие омрачал только выдавший виды фургон «форд-транзит» с нарисованной на борту разноцветной лентой и надписью «Театральный кооператив „На дне морском“», над которой красовались две театральные маски, причем обе веселые. Из задних дверей какой-то тип выволакивал два больших веревочных тюка. Я прирос к месту, но Айвор успел меня заметить и с тюком на каждом плече ринулся в мою сторону:

– Приивеет! Никак это наш вчерашний таинственный гость?! Я так и знал, так и знал, что тебя *потянет* вернуться. Бросай велик вот сюда, никто на него не позарится, и, сделай милость, разгрузи меня наполовину, сможешь?

В тюке были пенопластовые футбольные мячи, кресла-мешки, жонглерские булавы и – как-то странно – разномастные шляпы.

– Неохота выставлять себя идиотом, но я забыл, как тебя зовут.

– Чарли.

– Вот-вот, на языке вертелось. Чарли или Чарльз? Но не Чак, правда ведь? «Чак» – это совсем другой типаж.

– Чарли.

– О'кей, Чарли, вперед! – Он указал мне дорогу взмахом шевелюры. – Давно театром занимаешься?

– Нет, это... Я просто... Для меня это первый опыт. Решил попробовать.

– Ага, свежее мясо! Тебе понравится, это точно. Давай присоединяйся!

Мы пошли на звук медленных, ритмичных шлепков и хлопков, пересекли внутренний двор и вышли на открытое зеленое пространство, взятое, как мне показалось, в скобки восточного и западного крыльев здания.

– Большая Поляна – здесь мы создаем нашу прекрасную Верону. В это трудно поверить, я знаю, но дай срок – сам увидишь... а вот и все наши!

Расположившись по-турецки большим кругом, актеры шлепали себя по бедрам и хлопали в ладоши, четко выдерживая ритм 4/4, но при моем приближении сбились. Бегло обведя глазами весь круг, я заметил, как скривилась Люси Тран и стала что-то нашептывать открывшему рот от удивления Колину Смарту, мотору призрачного драмкружка школы Мертон-Грейндж. Мой взгляд выхватил и Хелен Бивис, которая ухмылялась и качала головой, а боком ко мне, пересмеиваясь с каким-то парнем, сидела Франсес Фишер. Она расцвела улыбкой и одними губами сказала: «Ты тут!», а может, «ура!», но я отвел глаза. Такую я выбрал для себя политику: отрешенный парень, знающий, что почем, заглянувший сюда просто ради спортивного интереса, вот и все.

– Итак, замолчали все, тихо. Глаза на меня! Глаза! Я должен видеть глаза каждого, люди! – Сложив две буквы «V» из указательных и средних пальцев, Айвор обвел ими свои глаза. – Итак, рад сообщить, что у нас в труппе пусть запоздалое, но пополнение. Встречайте: это Чарли... Чарли...

– Льюис.

– Здравствуй, Чарли Льюис! – хором сказали все, и я, опустив голову, поднял одну руку и втиснулся в круг между двумя незнакомцами.

– Мы пока не знаем, какие роли будет играть Чарли; об этом потом. А сейчас выполним ряд упражнений, да? Не слышу: да?

– Да!

– Сегодня Алина расскажет нам о сценическом движении!

Положив руки на колени, Алина растопырила локти под прямым углом к туловищу.

– Разговор у нас пойдет об осанке, о самопрезентации, индивидуальной и коллективной, о дыхании, о том, как мы, ныне живущие и присутствующие здесь, естественно и спонтанно реагируем на других. Ведь мы общаемся не только посредством слов, правда? Мы можем кое-что сказать, не раскрывая рта. В общении участвуют тело, лицо и даже наша неподвижность... – Она застыла и продолжила шепотом: – Мы. Так или иначе. Совершаем. Движения.

В других обстоятельствах я бы нашел, с кем поржать, но этот круг целиком состоял из серьезных, сосредоточенных физиономий. Одна только Люси Тран встретила со мной недобрый телекинетическим взглядом и пообщалась без слов. Здесь тебе не место, будто бы говорила она, ты напялил краденую форму и проник в тыл врага, но тебя выведут на чистую воду. Надумай я рвануть к своему велику, секунд через тридцать, а то и двадцать ноги бы моей тут не было, но черт меня дернул оглянуться и поймать на себе взгляд Фран. Она мимолетно улыбнулась и, кажется, свела зрачки к переносице. Я рассмеялся и сам не заметил, как мы все вскочили и стали трясти руками, чтобы снять напряжение: шейк, шейк, шейк, шейк, – а затем по воздуху стали реально летать кресла-мешки.

Мы играли в «собачку» и в «попугая». Мы играли в «куда

ведет нос», в «каракатицу», во «фруктовый салат». Мы играли в «угадай кто?», в «оранжевого орангутана» и в «зип-зап-зоп», в «ключника», в «атомы-молекулы» и в «паническую атаку», в «шляпа не моя», в «здравствуй, песик», и, пока остальные со смехом и с шутками носились вокруг, я изображал утомленность жизнью, как старший брат на детском празднике. Мне требовалось только одно: телефонный номер. У меня в кармане джинсов лежала наготове ручка, которая время от времени колола меня в пах, чтобы я не расслаблялся. Только телефончик – и я больше не потревожу этих людей.

Но оставаться хладнокровным во время игры «да-нет-банан» не так-то просто, и вскоре мы уже опять стряхивали напряжение – шейк, шейк, шейк, а потом разбились на пары, чтобы изображать зеркало. Я высмотрел Фран: они с Колином Смартom образовали пару и сдвинули ладони, а мне в напарники достался пожилой дядька, грузный, румяный, с красным носом, похожий на рекламную фигуру мясника в человеческий рост, выставленную перед деревенской лавкой.

– Привет, меня зовут Кит. Ты будешь зеркалом.

Он поддернул и потряс спортивные штаны, чтобы в них улеглось содержимое, и тренинг начался.

– Мне дали роль отца Лоренцо, – прошептал он уголком рта, касаясь носа одним пальцем, потом другим; я копировал его движения. – Из-за этого, наверно...

Он положил руку на голову, лысую, но с челкой – ни дать ни взять киношная монашеская тонзура. Я повторил движение руки.

– Меня из «Лейксайд плейерс» пригласили. Смотрел какие-нибудь лейксайдовские постановки? «Скрипач на крыше»? «Свидетель обвинения»? – Опустив челюсть, он стал отбивать ритм на щеках, и я сделал то же самое. – Не вижу особого смысла в этих разминках. У нас в «Лейксайде» за это время успели бы прогнать три первых акта. Ну, спорить не приходится. – (Теперь мы соприкасались носами; мой напарник обдавал меня запахом кофе.) – Наверно, это помогает раскрыться, согласен?

– Отставить разговоры! Если ты разговариваешь, твоё зеркало должно повторять за тобой!

Кит хлопал себя по щекам, дергал за уши, совал пальцы в нос, а я думал: почему, собственно, моё отражение не может стоять неподвижно? Вдруг *она* меня увидит?

– Так, теперь меняемся парами, прошу!

Но она меня не видела, даже не смотрела в мою сторону, и моим партнером в новой ситуации принудительной близости оказался парнишка по имени Алекс: чернокожий, долговязый, худущий, с выражением умудренности опытом и зрелости шестиклассника второй ступени. Новое упражнение называлось «скульптор и натурщик». Алекс оглядел меня с головы до ног.

– Я считаю так, Чарли, – заговорил он, – мы добьемся наи-

лучших результатов, если скульптором буду я.

– О'кей.

– Не сопротивляйся.

– Извини.

– От тебя исходит сопротивление: наклонись и оставайся в такой позе.

– Я стараюсь!

– Ты отстраняешься.

– Это не нарочно. Я стараюсь не...

– Боже мой, до чего напряженная шея...

– Извини.

– ...как узловатый канат.

Он стал мять мне шею большими пальцами.

– Ой!

– Это ты из-за меня так напрягаешься?

– Нет.

– Тогда расслабься!

– У меня опыта маловато для таких упражнений.

– Я так и понял. – Он принялся щипать меня за икры.

– Давай я попробую изобразить такого натурщика, который просто... лежит на полу.

– А в чем прикол? И потом, скульптор здесь я. Не вмешивайся! Делай, как я говорю!

– О'кей! – Айвор хлопнул а ладоши. – Скульпторы, предьявите свои статуи! Первыми смотрим Алекса и Чарли.

Вокруг нас скопились зрители. Я был Эросом: балансируя

на одной ноге, сжимал в руке лук и стрелы, а сам краем глаза наблюдал за Фран и Хелен Бивис: каждая стояла, взявшись за подбородок, и оценивающе кивала.

– Для всех перерыв десять минут! Десять минут, не больше, пожалуйста!

Во внутреннем дворе вся труппа со смехом и с шутками окружила термопот. В придуманной версии этого дня мне предстояло не спеша подойти, всех поприветствовать и вписаться в компанию, однако самоуверенность – не тумблер, который мы крутим по желанию, и в действительности этот путь выглядел весьма предательским, чреватым опасностями, а расстояние – гигантским. Возможно, меня бы приняли, но возможно и другое – что я бы рикошетом отскочил от края и, кружась, полетел в пропасть. Нет, уж лучше стоять тут, опустив взгляд на свой пластиковый стаканчик с горячей водой.

Впрочем, стоять на одном месте тоже было стремно, и я стал прохаживаться по периметру внутреннего двора, любясь архитектурой, как турист, нарезающий круги у собора. Боковым зрением я заметил, что ко мне, отделившись от общей массы, устремилась какая-то фигура: это была старушенция, которая накануне цокала языком в мой адрес. Теперь эта особа с лучистой улыбкой, с широко расставленными лучистыми глазами, с сеточкой морщин, подобных кракелюрам на старинной картине маслом, и темными пятнами

на коже от пагубного воздействия загара и прогулок под парусом, взяла меня за локоть, сверкая подозрительно ровными белыми зубами, явно моложе приютившего их рта.

– Здравствуйте, таинственный незнакомец, – тихо выговорила она низким, прокуренным голосом.

Лет, наверное, семьдесят, миниатюрная, с зачесанными вперед короткими седыми волосами, она была одета в гимнастический купальник с длинным рукавом, просвечивавший под каким-то воздушным кисейным балахоном, и выглядела как призрак инструктора по йоге.

– Когда дело касается утреннего печенья, тут, к сожалению, каждый сам за себя. Советую поторопиться.

– Спасибо, мне ничего не надо.

– Вид у вас меланхолический и харизматичный, бродите в одиночку – прямо чеховский персонаж. Наверняка так и задумано, но, может, все-таки присоединитесь к нам?

– Нет, мне хотелось получше рассмотреть... – Неопределенным жестом я указал то ли на окно, то ли на водосточную трубу.

– Особняк. В самом деле, этакое чудовище Франкенштейна. Центральная часть выдержана в яковинском стиле, а все остальное... прилеплено дополнительно.

– Он виден из города. Я всегда считал, что здесь размещается психиатрическая лечебница или что-то в этом роде.

Старушка рассмеялась:

– Что ж, это недалеко от истины. Видите ли, здесь обитает

наша семья.

– Ох! Извините.

– Ничего страшного. Вы не обязаны это знать. Меня зовут Полли, вот там стоит мой муж, Бернард... – (Высокий мужчина с военной выправкой заливал в термопот воду из пластикового ведра.) – Хотите, я проведу для вас экскурсию? – От такой экскурсии никто бы не отказался, и старушка взяла меня под руку. – Мы прожили здесь всю жизнь, но теперь нас только двое. Без детей дом стал слишком *большим*, потому-то мы и привечаем всех вас, молодых. Айвор – наш племянник. Сейчас у нас идет второй сезон. В прошлом году мы ставили «Сон в летнюю ночь», вы смотрели? Прослышав, что Айвор надумал сколотить небольшой театральный коллектив, мы подумали: почему бы и нет?! Но я поставила одно условие: чтобы мне дали роль! Понимаете, в молодости я выступала на сцене. Айвор побледнел как полотно – он решил, что мне втемяшится сыграть Титанию, но нет, я удовлетворилась Ипполитой – скука смертная, зато в этом сезоне у меня будет возможность сыграть Кормилицу. Я *рождена* для этой роли. Привнесла в нее говор кокни. «Ну, так в день Петров четырнадцать ей будет. Да, будет, право! Хорошо я помню...» Вначале подумывала придать ей диалект Глазго, но он безумно труден, даже уроженцы Глазго не все им владеют, так что остановилась я на кокни. Конечно, Айвор и Алина исповедуют совершенно эзотерические взгляды на эту постановку. «Концепции» – так принято говорить?

Я уверена, что действие будет перенесено в космос, на автовокзал в Венесуэле или в другие столь же экзотические места и что главный упор сделают на *движение*. Вместо обыкновенной ходьбы придумают иной способ перемены мест. Я с большим недоверием отношусь к пантомиме: в самом деле, зачем изображать жестами кувшин, если можно поставить на сцене шкаф, где от кувшинов и прочей посуды будут ломиться полки? У меня одна надежда: лишь бы не стали урезать *текст*, ибо что такое Шекспир, если не его *язык*?

На том мы с ней и сошлись: что Шекспир – это и есть его язык. Старушка, по собственному признанию, «на Шекспире свихнулась». Я только вставил, что он был первым рэпером, а больше ничего добавить не смог, да в этом и не было нужды, так как Полли делала паузы лишь для того, чтобы перевести дух, это притом, что мы обошли оранжерею, розарий, рокарий и так называемый грот – гулкий, забетонированный, кое-где выложенный ракушками известняковый замок величиной с большой семейный автомобиль. Своим низким, надтреснутым голосом старушка спросила, о какой шекспировской роли я мечтаю для себя. И где учился. Ответы были не к моей чести, но я заметил, что с утратой надежды на получение заветного телефончика у меня в голосе появилась учтивость воспитанного молодого человека, вежливого, с хорошо подвешенным языком. Когда мы вернулись после экскурсии, Фран беседовала с эффектным растрепанным парнем: они слишком близко сдвинули головы, а его ру-

ка лежала у нее на плече...

– Ромео и Джульетта, – вздохнула Полли. – Просто картинка, правда? Как по-вашему, они и в жизни будут связаны столь же пылкой любовью? Мне кажется, в истории постановок это сделалось своего рода традицией. Система Станиславского, знаете ли.

– Внимание всех! – жонглируя, прокричал Айвор. – Перерыв окончен, работаем!

Игры с мячами, игры с бамбуковыми шестами, игры с завязанными глазами, носовыми платками и шляпами. На ровном полу мы карабкались на утес, сворачивались, как сухие листья в костре, запрыгивали друг другу на потные спины, загрубелыми пальцами мяли физиономии своих партнеров, и все это время я терзался неразрешимой дилеммой: как выполнять все команды и при этом ничего не делать. Потом начались игры в слова, а дальше – составление рассказов, где каждый прибавлял к тексту одно слово:

Некогда

В

Океане

Танцевали

Двенадцать

Кумкватов!

Меня выбешивало, что всякий раз на подходе к чему-то связному и последовательному кто-нибудь непременно вставлял нечто бессмысленно-идиотическое, направляя

рассказ в бредовое русло...

Я...

Щекочу...

Тех...

Кто...

Сонно...

Пахнет...

Вомбатами!

И все начинали истерически ржать. Артишок-телефон-шампунь! Дромадер-стремянка-помойка! Господи, эта публика обожала всякие выверты, что подтверждало мои давние подозрения: в театральной среде любая чушь вызывает всеобщее веселье.

– Внимание, все расслабляемся! Шейк, шейк, шейк! Перерыв на обед!

В этот раз я твердо решил, что своего не упущу. Точно выбрал момент, нащупал в кармане ручку. Фран в одиночестве стояла во дворе у стола, но...

– Чарли Льюис, что тебя сюда привело? – Меня цепко ухватила за локоть Хелен Бивис. – Да я и сама догадалась. Господи, до чего же ты предсказуем.

– Не понимаю, о чем ты.

– Подбиваешь клинья к этой абсолютно интеллигентной девушке.

– Чтоб ты знала, Хелен: мой приход не имеет к ней ни малейшего отношения.

– Ха! Тебя привел сюда интерес к сценическому искусству!

– Ну а тебя что сюда привело?

– Я, между прочим, изготавливаю декорации. Занимаюсь сценографией. Попробовала себя год назад, мне понравилось; я не стыжусь, у меня есть подлинный интерес, я отдаю свои навыки. И уж точно, Льюис, не отнимаю чужое время.

– Наверно, ты неправильно меня поняла.

– Я всегда понимаю других правильно.

– Почему же у меня не может быть подлинного интереса?

– К Шекспиру, что ли? Ха!

– Почему бы и нет? Все лучше, чем целыми днями дома сидеть. Мы еще... мы еще посмотрим, что из этого получится.

– Вот именно. – Она положила руки мне на плечи. – Но если ты не соскочишь, Льюис, то потрудись выполнять все, как положено. Нечего убивать время и ерничать, здесь ты не с друзьями. Здесь полагается *отдавать себя делу!*

Ромео

Где-то между внутренним двором и Большой Поляной Фран исчезла. У меня выбора не оставалось – не прятаться же в лесу. Пришлось влиться в стан актеров, которые нежились на солнце, пока Ромео, поддерживая мясистой рукой свою красивую голову, распинался насчет высоких требований, предъявляемых к исполнителю заглавной роли. Заглавная роль, подчеркивал он, не всегда самая эффектная, но почему-то ему всегда достается именно заглавная роль, и в этом его проклятье – вечно быть заглавным; это слово повторялось так часто и с таким нажимом, что я уже стал думать, нет ли в пьесе героя по прозвищу Заглавный. «Смотри: приближается герцог Заглавный...»

– Взять хотя бы Отелло! – продолжал Майлз.

Алекс, худощавый чернокожий парень, который был моим скульптором, рассмеялся:

– Майлз, дорого бы я дал, чтобы увидеть тебя в роли Отелло.

– А что, это великая роль. Конечно, я, как белый актер, от нее бы отказался...

– Очень благородно с твоей стороны...

– ...но Яго – роль более эффектная. А в нашей постановке, например, мое имя уже значится в программе, но моей актерской природе ближе Меркуцио.

Алекс опять захохотал:

– То есть *моя* роль? Роль, которая поручена *мне*?

– Да, дружище Алекс, и ты с ней великолепно справишься. Но заглавная роль – это груз ответственности, который всегда ложится на *меня*.

Я наблюдал за ним с неприязнью. Наверное, он и вправду отличался той показной старомодной красотой, которая прежде ценилась в малобюджетных фильмах, где герой сражается с картонным динозавром. «Красив и сам это знает», как выразалась моя мама, и этот красавец, будто телепат, повернулся в мою сторону и, вместо того чтобы обратиться по имени, ткнул в меня пальцем:

– Какая роль интереснее: Ромео или Меркуцио?

Я хотел пожать плечами, но почему-то содрогнулся.

– А сам кого играешь?

– Кто, я? Не знаю еще.

– Ты из какой школы?

– Из Мертон-Грейндж, – сказал я, и Ромео покивал, словно такой ответ подразумевался сам собой.

– Из нашей школы, – подал голос Колин Смарт, который сидел, обхватив колени, и поедал глазами этого хвастуна.

– Для Чарли это типа дебют, – ядовито сказала Люси Тран. – В Мертон-Грейндж он известен отнюдь не *актерским* талантом.

– Меня зовут Майлз, – представился Ромео. – Я учусь в Хэдли-Хит, как и наш Джордж – вот там расселся.

Майлз указал на сутулого парнишку, который, устроившись в спасительной тени каменной ограды, ел банан и читал потрепанное карманное издание «Госпожи Бовари».

– Мм? – Тот посмотрел в нашу сторону через летные очки с толстыми, как аквариумное стекло, линзами.

На нем была, насколько я понял, форменная белая рубашка, а поверх нее – совершенно лишний джемпер; шапка блестящих черных волос напоминала битловский парик, а нос и подбородок мокли от прыщей цвета малинового сока.

– Джордж в моей команде, так ведь, Джорджи? – рявкнул Майлз.

Прыщавый парнишка помотал головой.

– Нет, Майлз, я не в твоей *команде*, – сказал он и, прежде чем вернуться к чтению, добавил: – Какой ты, однако, простой.

С видом сэра Ланселота Майлз от души расхохотался, но тут же бросился на Джорджа, одной пятерней прижал его к земле, а другой раздавил в его руке банан. Школа Хэдли-Хит, расположенная в пяти милях от города и обнесенная высокой стеной, относилась к разряду тех частных школ, к названию которых традиционно добавляется «специализированная». Ее учащиеся по вполне понятной причине крайне редко встречали в центре города и, как снежных барсов, практически никогда не наблюдали вблизи. Мы замерли в неловком молчании, но потом...

– Эй, Майлз! – позвал очнувшийся Алекс. – Майлз, мо-

жет, хватит?

Откатившись в сторону, Майлз вытер ладонь о траву.

– У нас в Хэдли-Хит отлично преподают сценическое движение.

– Почему ты такой козлина, Пэриш? – пробормотал Джордж.

– Есть потрясающий театральный зал, оснащенный по последнему слову техники, с круглой сценой в середине – мы оказываемся чуть ли не на коленях у зрителей. Там я сыграл Приятеля Джои в мюзикле «Приятель Джои», Артуро Уи в «Карьере Артуро Уи», Сирано в «Сирано де...».

– Заголовок в школьной газете: «Сирано: не дано...»

– Не нарывайся, Джордж! Мы недавно ставили «Убийство в соборе»...

– Где роль собора доверили Майлзу, – вставил Джордж.

– Для справки: мне доверили роль Томаса Бекета – настоящий марафон. Конечно, это не принц датский, которого мне реально хочется сыграть, но тоже довольно значительный герой.

– Это который принц датский, Пэриш? – спросил Джордж, вытаскивая из волос мякоть банана. – Уж не *заглавный* ли?

– Не заставляй меня делать второй подход, Джордж, скотина.

– На всякий случай: не обязательно все время повторять «заглавная роль», можно еще сказать «титульная». «Я выступил в *титульной* роли...»

– Вы понимаете, что это обалденная ответственность, когда на тебе держится весь спектакль?

– Здесь, между прочим, есть и второй персонаж: Джульетта, – напомнил Алекс. – От нее тоже многое зависит.

– Хм... – скептически фыркнул Майлз.

– Майлз, а какой у тебя самый любимый шекспировский монолог? – с благоговением спросила Люси, и Хелен с Алексом закатили глаза.

– Знаете, что характерно? – Майлз потер подбородок – реально потер подбородок. – Мои любимые шекспировские строки не входят ни в одну пьесу. Потому что... – эффектная пауза, – это сонет!

– Офигеть, – шепнула Хелен.

– Люси, – пробормотал Джордж, – ты хоть понимаешь, какое чудовище выпустила из клетки?

– «Ее глаза, – начал Майлз, воздев лицо к небу, – на звезды не похожи»!

Тут я лег на траву и зажмурился, а на губах у меня с самого начала была печать молчания и невежества.

Если это высвобождение творческой энергии имело целью дать нам раскованность и уверенность, то почему я сильнее, чем когда бы то ни было, мучился от скованности и робости? Алина говорила что-то насчет обретения способов существования в этом мире, насчет естественной реакции на других, и такие перспективы меня зацепили: для подростка, не способного пробиться сквозь заполонившую помещение

толпу, или прилечь на диван вместе с одним из родителей, или подвалить к девушке, которая ему понравилась, и при этом не проглотить язык, это были завидные умения. Но ими невозможно овладеть, если ты только и делаешь, что строишь из себя скульптора, который ваяет чужое лицо, или при-творяешься, будто у тебя одна за другой исчезают кости, или слушаешь какого-нибудь самовлюбленного мудака-лицедея, который разглагольствует о Шекспире и по памяти шпарит стихи. Мне просто требовалось понять, что делать со своими руками. Куда девать руки?

Если моя миссия с самого начала была обречена, то сейчас мне уже виделось в ней что-то бесчестное и позорное. Я участвовал в акте инициации какого-то проекта, который меня совершенно не привлекал, равно как и я – его. Хелен была права: посягать на чужое время – бессовестно. Из вежливости я был готов перекантоваться здесь до конца дня и уйти с долгожданным телефонным номером. Лицо Фран со временем померкнет, мои чувства к ней – тоже, я как бы вернусь с холода. Или сойду с ума; это станет ясно довольно скоро.

Сидя по-турецки на газоне, Майлз теперь рассказывал печальные истории гибели королей, а я слушал, подставив лицо солнцу. Цитировать Шекспира я не мог, но загорать у меня получалось неплохо.

На мое лицо упала какая-то прохладная тень.

– Чарли, можно тебя на пару слов?

Оказывается, я уснул. Остальные разбрелись кто куда, и теперь надо мной склонились Алина с Айвором, как детективы, увидевшие на пляже мертвое тело.

– Конечно. – В сумеречном состоянии я вскочил и застыл между ними, чувствуя, как спину холодит пот. Меня повели к особняку; они просмотрели мои документы, определили, что все бумаги поддельные, и теперь мне грозил расстрел на краю утеса.

– Ну, сегодня потрудились на славу, – заговорил Айвор, только я не понял, какая именно часть моих трудов удалась. Когда я, как опавший лист, валялся на солнце? Или сжимался до микроскопических размеров?

– Мы хотели ознакомить тебя вот с этим. – Алина протянула мне какую-то распечатку в спиральном переплете. – У нас в работе этот текст. Пьеса, конечно, тебе известна.

Я помотал головой и одновременно покивал.

– На понедельник назначена читка. Волноваться не стоит, мы не ожидаем безупречного прочтения...

– ...но будем очень рады, если ты присмотришься к персонажу по имени Самсон, – подхватил Айвор. – Он из числа сторонников Капулетти.

– Парень достаточно легкомысленный, – сказала Алина.

– Но зато не скучный,

– Сыплет *рискованными* шуточками.

– Он, можно сказать, открывает пьесу.

– Примерься к нему.

– Мы на тебя не давим.

Положение складывалось в мою пользу: *спасибо, но я больше не приду, это не мое*. Однако во взгляде Айвора читалась такая надежда, а на лице Алины – такое напряженное ожидание, что я опять – причем не в последний раз – упустил подвернувшуюся возможность. Я кивнул – о’кей, без проблем – и всю вторую половину дня пахал, как электровеник.

К вечеру я совершенно выдохся, измучился от неожиданных болей в разных частях тела, насквозь пропылился, семеня и ползая, но ни на шаг не приблизился к получению заветного телефонного номера или хотя бы к обмену краткими фразами. По всей видимости, Фран меня избегала, и, пока вся труппа стояла обнявшись, я собрал свои вещички и остатки гордости.

– Всем хорошего отдыха на выходных, люди! – прокричал Айвор. – Но помните: понедельник – день Шекспира. Будем вгрызаться в текст, будем глубоко копать. Сбор в оранжерею ровно в девять. Но помните: никакой актерской игры! Только чтение, только чтение...

Мой велосипед лежал там, где был брошен, – под старыми тисовыми деревьями, обрамлявшими подъездную дорожку. Распечатку я спрятал там же, только с другой стороны ствола, в качестве заявления об уходе, и сел на велик, чтобы умчаться оттуда подальше, но под колесами заскользил гравий, и я в завершающем акте самоунижения грохнулся на

землю. У меня за спиной раздались аплодисменты и смех. «Козлы, выпендрожники», – пробормотал я себе под нос и, повернувшись, увидел, что ко мне торопливо приближается Фран.

– погоди.

– А, привет.

– Ты вот это забыл.

Выброшенный текст.

– Да, точно. Спасибо.

– Надеюсь, это случайность. – Она протянула мне свою находку, словно это был контракт на подпись.

– Да, я, наверно... – Повертев головой направо и налево, оттягивая момент вручения мне скрепленных спиралью листов.

– За мной каждый вечер заезжает отец – он будет ждать внизу, в конце этой тропы. То есть если тебя это не останавливает. Если ты не очень торопишься...

Пешком в сторону дома

Вдоль подъездной дороги, которая, между прочим, оказалась длинной, мы шагали молча. Дальше путь лежал по тенистой тропе в сторону шоссе, а у меня в голове по-прежнему звучал один-единственный голос, который твердил: *сосредоточься, это важно, сосредоточься.*

– Жаль, что сегодня не удалось потрепаться, – заговорила она.

– Да, не до того было.

Мы топали дальше.

– Я подумал, ты меня избегаешь, – сказал я.

– Нет, что ты! Я пару раз обошла кругами, но ты все время изображал кота, поэтому... – Тут она засмеялась и, на мой взгляд, слишком долго не умолкала, а потом убрала волосы за ухо.

– Ну извини.

– Если честно, мне показалось, это ты меня избегаешь.

– Бог с тобой! – Кто бы мог подумать, что моя нелюдимость может быть истолкована как нелюдимость. – Просто мне тут малость непривычно.

– Думаю, к такому привыкнуть невозможно.

Мы шли дальше. Под зеленым сводом зависла дневная жара; в неподвижном воздухе тут и там темнели тучки мошкеры, как отпечатки большого пальца на поверхности фото-

снимка. Где-то вдалеке на низких частотах гудела автомагистраль, а сзади доносилась болтовня актеров, по-шпионски державшихся на расстоянии.

– Послушай... скажи честно, – решила она, – ты с трудом переваривал все происходящее?

– А что, заметно было?

– Ну да. Особенно когда ты изображал памятник; я уж подумала, ты сейчас, как бы это сказать... разнесешь все во круг.

– Просто у меня ничего не получалось.

– Еще как получалось! Кстати, когда ты изображал паровоз, это было потрясающе – притом что я такими словами не бросаюсь. Но даже тогда у тебя на лбу читалась... ярость! – Она снова засмеялась, прикрыв рот ладонью.

– Да говорю же, не мое это...

– Зачем тогда пришел?

Я смотрел перед собой.

– Попробовать что-то новое. Отвлечься.

– От влияния улицы.

– От проблем.

– У тебя проблемы?

– Не то чтобы очень большие. Просто дома скучища.

– А сегодня... здесь тоже скучно было?

– Не сказать, что скучно...

– Вот тебе и ответ.

– ...но просто не по себе как-то.

– Есть такое, поначалу все так говорят. Все с этого начинают. Представь, что тебя взяли в Иностраннный легион или в десантные войска, где приходится бегать с холодильником на горбу и утолять жажду собственной мочой или чем попадетсЯ. Так и здесь: никогда не знаешь, что тебя ждет. Зато мы все повязаны, все без комплексов. Чувствуешь, как ты повязан?

– Не так чтобы очень.

– Но без комплексов?

– С комплексами.

– Ну подожди, вот начнем репетировать... Тебе какую роль дали?

– Какого-то Симпсона, что ли.

– Самсона. Это же здорово. Сплошные издевки, шуточки ниже пояса. О-о-о-очень дерзкий перец.

– Ну, приплыли.

– Только бедрами не поигрывай. Предоставь это Джульетте.

– Тебе, что ли?

– Ну да. – Она скривилась. – Будем знакомы.

– Ничего себе: заглавная роль.

Она хохотнула:

– Заглавная – не всегда самая эффектная.

– Будь твоя воля, ты бы предпочла сыграть Самсона.

– Всю жизнь мечтала.

Мы заулыбались и пошли дальше сквозь мягкий искри-

стый свет, зеленоватый, испещренный бликами, как морская вода в скалистой бухте. На меня порой накатывало, так сказать, поэтическое вдохновение; я даже собрался его озвучить – ну, допустим, высказаться насчет скалистой бухты, хотя при этом из меня мог получиться не столько поэт, сколько баламут. А поскольку первый имеет немало общего со вторым, я решил оставить свое вдохновение при себе. К тому же меня опередила Фран.

– До чего паршивое время – лето, скажи? Светит солнце, над головой, если повезет, голубое небо, и вдруг, откуда ни возмись, прут все эти набившие оскомину мысли насчет летнего досуга: летом принято нежиться на пляже, прыгать в реку с тарзанки, ездить на пикник со своей образцовой компанией, сидеть на одеяле среди лугов, уплетать землянику и взхлеб хохотать, как эти дебилы в рекламе. Но так не бывает: все полтора месяца ты живешь с ощущением, что находишься не там и не с теми, упуская самое интересное. Лето потому и нагоняет тоску: оно по умолчанию требует, чтобы ты радовался жизни. По мне – скорей бы зима: натяну теплые колготки, включу центральное отопление. Зимой, по крайней мере, тебе разрешено грустить, зимой ты не обязан носиться по полям среди подсолнухов. И эти летние радости повторяются из года в год, согласен? Бесконечные и всегда не такие, как тебе хочется.

– С этим не поспоришь, – сказал я, и тут она вдруг схватила меня за руку:

– Вот тебе и причина сыграть в этой постановке! Новые впечатления, новые люди... – Оглянувшись, Фран понизила голос. – Нет, понятно, с виду они немного того... – она скорчила гримасу, – но в принципе нормальные ребята, им только надо пообвыкнуться...

– Я не смогу.

– Да почему?

– Работаю.

– Это здорово! А где?

– На заправке.

– И что же, разрешите полюбопытствовать, привлекло вас в мир этой профессии?

– Запах бензина. Мне нравится, как он пропитывает одежду, волосы.

– И вдобавок всякие соблазны тут же, на полке.

– Само собой: и чипсы, и сладкое, и порнушка...

– Есть чем себя побаловать? Я про сладкое, а не про порно.

– Ну, порно, кстати, запечатано в целлофан...

– В качестве милого сюрприза.

– ...а сладкое – нет. Разве что «Твикс», да и то не всегда.

– Ты, как я погляжу, знаток. А что по деньгам?

Я опустил глаза на свои ногти:

– Три двадцать в час.

Она присвистнула.

– И сколько часов в неделю?

– Десять-двенадцать.

– Ну ничего, о времени можем договориться. Отмазка у тебя хилая, так и знай. Впрочем, никакие другие отмазки тоже не принимаются.

Слово за слово – мы успели спуститься под горку и оказались у перекрестка с шоссе, возле бетонного павильона автобусной остановки.

– Отсюда меня папа забирает. Мы живем вон в той стороне.

И она упомянула не то поселок, не то деревушку из двадцати с лишним домов, побеленных, крытых соломой, всем на зависть. Ну-ну, подумал я, это многое объясняет, тогда все сходится.

– Подождешь со мной? Он чуть позже приезжает.

Но как только я представил, что через считанные секунды мимо нас, кивая и ухмыляясь, потянется вся труппа, мне, скрытному и зажатому, сразу захотелось оттуда сдернуть.

– Нет, поеду, наверно. Вечером еще на работу. – Я сел на велосипед, неловко зацепившись за седло внутренней стороной бедра.

– Что такое? Голова кружится?

– Нормально все.

– Ну ладно тогда. Хорошо, что мы потрепались.

– Ага.

– И вот еще что... – Она вытянула перед собой руки, сжимавшие распечатку текста. – По крайней мере, я пытаюсь.

Бросив взгляд в сторону автобусной остановки, где пере- смеивалась и ухмылялась вся труппа, я повернулся к Фран и заговорил по-шпионски, негромко, но твердо:

– Слушай, без обид: в понедельник я не приду.

– А что так?

Передернув плечами, я устремил взгляд куда-то вдаль:

– От меня проку – ноль.

– Многие этим прикрываются. Никто не говорит: от меня будет очень большой прок, я готов с пользой вступить в любое дерьмо, вот такой я молодец.

– Нет, в моем случае...

– Это твое невступление... из-за того, что ты бунтарь или дикарь?

– И то и другое – надо же чем-то прикрываться.

– Я так и поняла. Не вижу в этом ничего хорошего. – Она снова протянула мне текст. – Вступить – не предосудительно, особенно если дело того стоит.

– Но в моем случае все не так! Я пришел только потому... как это... не знаю... ну, короче, чтобы пригласить тебя на кофе там или на чай, типа того, понимаешь? Можно, кстати, и на чай, и на кофе, я только за. Или, скажем, в паб – знаю я тут одно место, где наливают всем без разбора... я не в смысле... просто если не высовываться... посидим на открытой террасе, ну или как ты скажешь, но меня, если честно, прет эта шекспировская тема. Как пить дать, я облажаюсь. Вот как сейчас под деревьями, если не хуже.

Пока я распинался, она то хмурила, то вздергивала брови, шурилась, покусывала прядь волос и убирала за ухо; а я с каждым ее движением все сильнее тушевался, прерывал себя на полуслове, издавал какие-то нелепые звуки, которые наконец-то иссякли, как последние капли из садового шланга.

– Ну вот. Как-то так. Что скажешь?

И когда мой фонтан пересох окончательно, Фран отчетливо произнесла:

– Нет.

– Нет?

– Нет.

– Ясно. Ну ладно.

Она пожала плечами:

– Прости.

– У тебя есть парень?

– Нет.

– Из-за Майлза или как?

– Что? Что?! Нет!

– Ладно, ладно.

– Я не понимаю... При чем тут, собственно, Майлз?

– Ну, не знаю, я просто... может, тебе неохота... все нормально...

– Не в этом дело.

– Ну намекни хотя бы, а то мне напряжно в угадайку играть.

– Некогда мне! Вот это видишь? Столько выучить нуж-

но...

Она помахала текстом пьесы у меня перед носом.

– Зато роль какая – заглавная.

– Вот именно! Я халтурить не собираюсь.

– Ну, может, на выходных...

– Нет, на выходных я с друзьями тусуюсь. А с тобой могу встретиться разве что...

– Начала – договаривай...

– Ну, приходи в понедельник.

Покрутив головой, я взгляделся в лица, наблюдавшие за нами из-под бетонного козырька.

– Только в понедельник? Один раз?

– Нет, можно всю неделю. Продержись хотя бы до пятницы.

И когда на расстоянии вытянутой руки передо мной опять возникла распечатка, я выразился, как подобало поэту:

– Бл... Блин, блин, блин!

Она рассмеялась:

– Уж извини, таковы условия.

– Но в пятницу-то мы куда-нибудь сходим?

– Нет, в пятницу я еще только серьезно подумаю.

– И примешь решение?

– Да.

– Исходя из чего?

– Как заведено. Если мы сработаемся...

– Хочешь проверить, на что я годен?

– Ну зачем так? Это же не пробы.

– Смотря как поглядеть.

– Если даже пробы, то не такие, как ты подумал.

– Но это еще не точно? Кофе, то-се?

– На данном этапе переговоров все условия уже озвучены.

– Это называется шантаж.

– Нет, шантаж – это когда тебе приходится краснеть за содеянное.

– Как в «Театральном марафоне»?

– Нет, здесь, скорее, подкуп. А точнее, стимул.

И когда она в очередной раз протянула мне все те же страницы, я сдался и торопливо запихнул их в рюкзак.

– Еще подумаю, – бросил я, поставил ногу на педаль и приготовился оттолкнуться. – Пока.

– Ну, давай! – С этими словами она мимолетно коснулась моего плеча, а когда я обернулся, быстро прильнула щекой к моей щеке (на коже – то ли у нее, то ли у меня – чувствовалась испарина) и прошептала мне на ухо: – Сто тысяч раз прощай... и так далее.

А потом, уже на пути к своей компашке, помедлила и еще раз обернулась:

– До понедельника!

По дороге на работу в голове крутилось: «Сто тысяч раз прощай», до чего же красиво сказано. «Сто тысяч раз прощай». И только в понедельник утром я узнал, что это реплика из пьесы.

Часть вторая

Июль

*Я видел более интересные спектакли. Черт
побери!*
Гомер Симпсон. Симпсоны

Свадьба

Свадьбу мы решили назначить на зимнее время и непременно подчеркнуть этот факт.

– Скромненько и со вкусом, но не потому, что к нам все относится с прохладцей.

Нив – так звали мою невесту, хотя жизнь научила меня избегать этого слова.

– Мне нравится «суженая», – повторяла она. – Наводит на мысль о стройности.

– Тебе очень подходит.

– Да? Ты так считаешь?

– После свадьбы я все равно буду тебя называть «моя суженая».

– А что, попробуем.

За десять лет, прожитых вместе, мы не раз бывали на свадьбах: в итальянской оливковой роще на закате, в англий-

ской, как с открытки, сельской церквушке, на крыше нью-йоркского небоскреба. Нив была родом из Дублина, так что заносило нас и на бескрайний, продуваемый ветрами ирландский берег, куда невеста прибыла из дальних краев на белом коне, прямо как Омар Шариф в «Лоуренсе Аравийском», – из таких дальних краев, что Нив пришлось укрыться в дюнах, дабы не расхохотаться на людях. Я при всем желании не мог примерить к нам с ней ни один из таких сценариев, и у Нив отношение было сходное.

– Когда я заглядываю тебе в глаза и сознаю, как много ты для меня значишь, – говорила она, – в голове крутится только одно: просто сходить и зарегистрировать наш брак, больше ничего не надо.

– Вероятно, даже ходить никуда не потребуется. Сейчас, если не ошибаюсь, можно зарегистрировать брак по интернету.

– А еще можно сбежать – только ты и я, вдвоем. Хотя придется моих родителей позвать. Значит, вчетвером.

– Какое же это бегство, если с твоими родителями?

Познакомились мы в некогда фешенебельном ресторане, расположенном в восточной части Лондона, когда я вел беспорядочное и губительное существование на третьем десятке своей жизни. В том ресторане я работал барменом, а Нив – управляющей, и вскоре она была добавлена к списку из двух человек, которые, без преувеличения, спасли мне жизнь. По сути, общались мы только ночами, за бутылкой водки, те-

ря приятелей одного за другим, но кое-кому все же удалось открыть процветающие рестораны, и через этих приятелей мы нашли, где устроить свадьбу, нашу весьма скромную свадьбу, – в верхнем зале неприметного паба. Отсутствие размаха было призвано свидетельствовать о нашей уверенности и надежности. На белых конях разъезжают лишь закомплексованные типы, а мы собирались только процедить «согласен» и «согласна», после чего отбыть на встречу с друзьями. Пригласить решили человек десять, потом двадцать, потом тридцать. Если поставить столы по периметру, можно рассадить сорок – и баста.

Ближе к ночи, уже в постели, мы просмотрели весь список. В нем оказалось тридцать восемь человек.

– Но здесь только гости с моей стороны, – заметила Нив.

– Мне они тоже не чужие.

– А кого-нибудь из одноклассников не хочешь пригласить?

– Нет, по мне – и так хорошо.

– А бывших подруг?

– Зачем? Как тебе вообще такое в голову пришло?

– Хочу посмотреть на эту-как-ее.

– На кого?

– Сам знаешь...

– Нет, не знаю.

– На шекспировскую девушку.

– Ее звали Фран Фишер.

– До сих пор не могу поверить, что ты по-настоящему играл в *спектакле*.

– «Я нашу дворню с челядью врага...»

– Ох, избавь.

– «...уже застал в разгаре рукопашной...»

– Прекрати, пожалуйста, слышать этого не могу.

– «Едва я стал их разнимать, как вдруг неистовый Тибальт вбежал...»

– Надеюсь, ты так не пыжился.

– Примерно так. Но после этого на сцену больше не выходил.

– Какая потеря для театра.

– И не говори. Вот в чем истинная трагедия.

– А ваше с ней знакомство произошло, как в пьесе? Это была любовь с первого взгляда?

– Ну нет. В лучшем случае это была симпатия с первого взгляда.

– Симпатия с первого взгляда. Это тоже из Шекспира?

– Я что хочу сказать: любовь – очень громкое слово. Мы были совсем другими. В том возрасте. Это... нечто иное.

– Давай, пригласи ее!

– Я не собираюсь приглашать Фран Фишер на нашу с тобой свадьбу.

– Почему? Если она была такая классная.

– Я даже не знаю, где ее искать! – На тот момент это была чистая правда. – Мы с ней не общались... двадцать лет!

– Но мне охота на нее посмотреть!

– А ты не боишься, что в разгар церемонии я переметнусь к ней?

– Потому-то я и хочу, чтобы она присутствовала. Пусть будет как в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны» – с тем же настроением, с той же аурой, с изюминкой.

– Она, скорее всего, замужем. Наверняка и дети есть.

– И что? Пробей по интернету, какие трудности?

– Говорю же: мне и так хорошо. Я о ней даже не вспоминаю.

И действительно, я о ней не вспоминал – ну разве что от случая к случаю.

На протяжении минувших лет я наблюдал, как современные технологии раздувают культ ностальгии, а попутно – как сама идея «прошлого» подвергается сумасшедшей инфляции: у друзей затуманиваются глаза от воспоминаний о событиях недавнего Рождества. Свое собственное прошлое я старался не ворошить – не потому, что считал его травматичным или не столь счастливым, как у большинства, а потому, что уже не испытывал такой потребности. На других, менее счастливых этапах моей жизни я создавал себе религию из прошлого и уходил в нее, как в запой, – неудивительно, что одно сопутствует другому; я до сих под втягиваю голову в плечи, когда вспоминаю, как, пьяный в хлам, стал звонить матери Фран в ночь миллениума. Скажите, как она поживает? Не дадите ли ее телефончик? «Вот что я тебе скажу, Чар-

ли, – прозвучал в трубке спокойный и доброжелательный голос. – Перезвони мне завтра утром, если не раздумаешь, и я охотно дам тебе все ответы».

Перезванивать я не стал и после того случая не контактировал с Клэр Фишер, так стоило ли оглядываться в прошлое сейчас, когда жизнь мало-помалу приобретала какие-то очертания, какое-то постоянство? Ни фотоальбомов, ни дневников, ни старых записных книжек у меня не сохранилось; в социальных сетях я никакой активности не проявлял. Незачем обращаться к прошлому, чтобы залатать дыры в настоящем. Тридцать восемь гостей – этого более чем достаточно.

А потом, за месяц до свадьбы, пришло сообщение по электронной почте: скриншот страницы «Фейсбука» с приглашением на лондонскую встречу театрального кооператива «На дне морском» (1996–2001). И приписка от моей свидетельницы (она же шафер):

«Надо ехать, правда? Встречаемся прямо там».

Цапля

А еще тем летом я встал на путь криминала.

Бензоколонка (где была разрешена последняя остановка перед выездом на трассу) находилась на длинной прямой дороге, прорезавшей сосновую лесополосу. Эту работу предложил мне Майк, местный качок-бизнесмен, который флиртовал с моей матерью в гольф-клубе, у стойки администратора. Майку принадлежала франшиза (он тащился уже от одного этого слова) на три скромные бензозаправочные станции. «Франшиза хороша тем, – заявил он мне при нашей первой встрече в захлавленной подсобке, – что она – как семья. Большой бизнес, но с человеческим лицом». На человеческом лице самого Майка выделялись обвислые усы, которые своей тяжестью будто тянули за собой всю его физиономию; во время разговора он поглаживал их согнутым указательным пальцем, словно хотел убаюкать. Предлагая мне заработок, он, как я понимаю, подбивал клинья к моей матери, а поскольку мне еще не исполнилось семнадцати лет, работа обставлялась как «стажировка». Оплата наличными из рук в руки, никаких заморочек со страховыми, отпускными и больничными. А по окончании школы можно и оформить-ся по всем правилам. Майк назвал эту сделку «взаимовыгодной», и в день последнего экзамена я приступил к работе: двенадцать часов в неделю, три фунта двадцать пенсов в час.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.